



Э. А. К. Васянский

ИММАНУИЛ КАНТ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Перевод с немецкого А. И. Васкиевич



E. A. Ch. Wasianski

IMMANUEL KANT IN SEINEN LETZTEN LEBENSJAHREN



УДК 929
ББК 87.3
В19

Васянский, Э. А. К.

В19 Иммануил Кант в последние годы жизни =
Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren /
Э. А. К. Васянский ; пер. с нем. А. И. Васкине-
вич. — Калининград : Изд-во БФУ им. И. Канта,
2013. — 244 с., 6 л. ил.
ISBN 978-5-9971-0264-7

Перед читателем воспоминания человека, который ежедневно в течение нескольких лет общался с великим философом, помогал ему в домашних делах, заботился о теряющем силы мыслителе. Написанные тепло и уважительно, они стали драгоценным свидетельством последних лет жизни И. Канта.

Предназначается широкому кругу читателей.

Dem Leser bieten sich die Erinnerungen des Menschen an, welcher im Verlaufe einiger Jahre im alltäglichen Kontakt zu dem großen Philosophen stand, ihm im Haushalt half und für den an Entkräftung sterbenden Denker sorgte. Diese im Geist der ehrfürchtigen Neigung verfassten Erinnerungen legen ein unschätzbbares Zeugnis von den letzten Lebensjahren Kants ab.

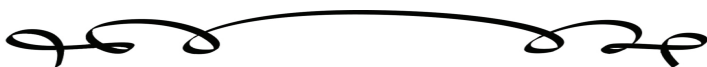
Die Ausgabe ist für einen breiten Leserkreis vorgesehen.

Фото на вкладышах А. И. Иванова.
Foto auf den Innenseiten: A. I. Iwanow.

УДК 929
ББК 87.3

ISBN 978-5-9971-0264-7

- © Васкинович А. И., перевод с немецкого языка, 2013
- © Хорст Г., издание на русском языке, 2013
- © Издание и распространение на территории России. Калининградский региональный общественный Кантовский фонд, 2013
- © Оформление. Издательство БФУ им. И. Канта, 2013



ИММАНУИЛ КАНТ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Сведения о его характере и домашнем быте,
почерпнутые из повседневного общения с ним
Э. А. К. Васянским, диаконом Трагхаймской церкви
в Кёнигсберге

Кёнигсберг
Издательство Фридриха Николовиуса
1804






Предисловие

В 1789 году молодой Николай Михайлович Карамзин, тогда начинающий литератор, будущий автор «Истории государства Российского», прибыл в Кёнигсберг с мыслью о встрече с великим философом, чтобы «изъявить почтение Канту». Это свидетельствует о том, что уже тогда в России И. Кант был известен, что к нему испытывали столь сильное почтение, что отправившийся в путешествие по Европе молодой дворянин считал необходимым посетить кёнигсбергского мудреца и выразить свои чувства.

Повествование о встрече и беседе с И. Кантом было опубликовано Н. М. Карамзиным в журнале «Вестник Европы», затем его «Записки русского путешественника» неоднократно издавались в нашей стране, стимулируя интерес к трудам и личности великого мыслителя. Внимание к философии И. Канта стало заметным фактором русской философии, литературы, русской культуры в целом.

Особенно много публикаций, посвященных И. Канту, стало издаваться в нашей стране с 70-х годов XX столетия, после того, как широко отметили 200-летие со дня его рождения. Во всех биографиях И. Канта, изданных на русском языке, неизменно присутствовали сведения, почерпнутые из воспоминаний Э. А. К. Васянского, однако его книга «Иммануил Кант в последние годы жизни» так и не была переведена на русский язык.






Публикация этих воспоминаний, причем на двух языках — русском и немецком — значимое событие в научной и шире — культурной — жизни. Специалисты смогут пользоваться обоими текстами, что имеет большое значение для научной работы. Но еще более важно то, что многочисленные читатели, люди разного возраста, получают первоисточник, позволяющий им постичь этого благородного, великодушного и в то же время скромного человека, как о нем пишет Э. Васянский, — И. Канта.

Замечательным является и тот факт, что публикация воспоминаний Васянского выходит в Калининграде, который у наших соотечественников ассоциируется прежде всего с именем великого философа. Каждый человек, приезжающий в Калининград, спешит поклониться могиле И. Канта, посетить его музей в Кафедральном соборе, старается приобрести книги о жизни и деятельности «великого сына старого города».

Конечно, не только гости нашего города интересуются биографией и трудами И. Канта. Преподаватели кафедры философии Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, сотрудники Института Канта, входящего в состав университета, постоянно читают лекции о великом мыслителе для населения города, учащихся школ, гимназий, лицеев, колледжей, отмечая при этом большой интерес слушателей. Выход книги Э. Васянского расширяет возможности калининградцев познакомиться с некоторыми поучительными страницами биографии Канта.

По-видимому, надо немного сказать и о самом Э. Васянском. Эрегот Андреас Кристоф Васянский родился в Кёнигсберге 3 июля 1755 года. Он учился в том же учебном заведении, которое окончил И. Кант —




Фридрихсколлегиум (в 1810 году эта школа была преобразована в гимназию). Школа находилась на Кнайпхофе, неподалёку от Кафедрального собора. Семнадцатого сентября 1772 года Э. Васянский стал студеном Кёнигсбергского университета. Он слушал лекции Иммануила Канта, которые произвели на него неизгладимое впечатление.

В 1786 году Э. Васянский окончил богословский факультет и стал дьяконом, а с 1808 года пастором Трагхаймской церкви. В память об этом незаурядном человеке в Трагхаймской кирхе висел его портрет, утраченный вместе с церковью в результате бомбежки Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года.

Эрегот Андреас Кристоф Васянский умер 17 апреля 1831 года в Кёнигсберге.

Как сообщает в своих воспоминаниях сам Васянский, И. Кант следил за судьбой своих студентов и, встретившись с ним у друзей, пригласил Васянского к себе на обед. Добрый, заботливый, умный дьякон постепенно стал часто бывать в доме великого философа. Он ненавязчиво помогал в домашнем хозяйстве. Будучи мастером на все руки, быстро чинил ту или иную поломку, например остановившиеся часы. Поскольку он жил неподалеку, то мог по мере надобности приходиться к Канту несколько раз в день, и постепенно философ доверил ему управление хозяйством и своими финансами.

После смерти Иммануила Канта в 1804 году Э. Васянский опубликовал свои воспоминания о великом мыслителе. Он с любовью и глубоким уважением рассказал о И. Канте, сообщив подробности, касавшиеся привычек, особенностей домашнего быта философа,



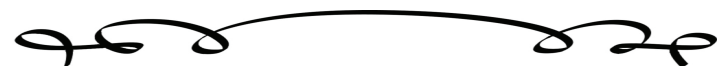
жизни тогдашнего Кёнигсберга. Эти воспоминания много говорят и о самом Э. Васянском, о том, что категорический императив Канта стал для него руководством к действию. Его поступки, тон повествования вызывают доверие и уважение к автору.

Следует сказать еще о том, что издание воспоминаний Э.А. К. Васянского на русском языке стало возможным благодаря господину Герфриду Хорсту, председателю «Общества друзей Канта и Кёнигсберга», правообладателю текстов на русском языке. Надо отметить, что он тщательно проверил соответствие немецкого текста «Воспоминаний» Васянского первому изданию 1804 года и откорректировал ошибки, появившиеся в последующих изданиях. Г. Хорст, вместе с профессором Вернером Штарком (г. Марбург) и переводчиком, доцентом БФУ им. И. Канта Анжеликой Васкиневич, является также автором сносок и комментариев, что делает данное издание еще более ценным, приближая его к читателю.

Чтобы современный читатель лучше представил себе, как великий философ относился к Э. Васянскому, Г. Хорст поместил в книгу тексты двух писем философа к своему бывшему студенту и другу, которые впервые переведены на русский язык.

Добавим также, что издание осуществлено на средства Калининградского областного Кантовского фонда по инициативе директора Кафедрального собора И. А. Одинцова.

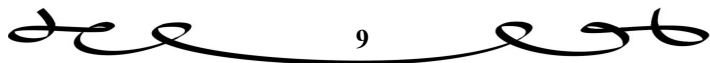
Еще надо сказать, что Васянский не был профессиональным писателем. Он вел повествование просто и безыскусно языком своего времени — XVIII столетия. За прошедшие века изменился немецкий язык, да и мы говорим не так, как изъяснялся современник Э. Васянского Г. Р. Державин. Но переводчик — А. Васкиневич

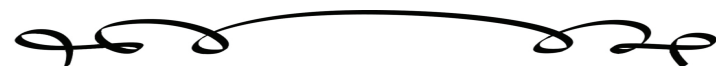


— старалась сохранить «аромат эпохи», донести до читателя атмосферу ушедшего времени. Поэтому современному читателю, может быть, будет непривычно то или иное построение фразы, использование редко звучащих слов, но это позволит ему услышать голос человека XVIII века, когда само время текло медленнее, когда люди были более обстоятельными и чувствительными, когда только начинали писать книги о великом мыслителе — Иммануиле Канте.

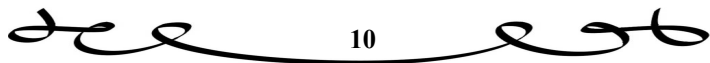
Итак, перед Вами, дорогой читатель, искренний и добрый рассказ человека, близкого Канту, общавшегося с ним в течение длительного времени, заботившегося о великом философе в последние месяцы и дни его жизни.


*И. Кузнецова,
доктор философских наук,
профессор БФУ им. И. Канта*






Иммануил Кант, штатный университетский преподаватель логики и метафизики в Кёнигсберге, заслужил признание не только своей эпохи; он останется незабвенным среди будущих поколений и бесспорно прочно займет свое место в списке великих людей. В каком бы качестве его ни рассматривали: как ученого, овладевшего богатством знаний по многим предметам из разных научных сфер; или как самобытного мыслителя, оставившего после себя множество основательных трудов; или как человека, обладавшего поистине благородным, великодушным, человеколюбивым и вместе с тем скромным характером; или, наконец, как друга и собеседника, отличавшегося тонким, любезным, приятным, заинтересованным и гуманным обращением с людьми, — для каждого, кто не ослеплен завистью и самолюбием и кто не введен в заблуждение враждебностью и субъективным пристрастием, он останется объектом восхищения и почитания. Что касается его роли ученого и мыслителя, то не будет недостатка в людях, которые опишут его заслуги в этой сфере. Всё великое восхищает, непреодолимо притягивает каждого, кто понимает суть истины и блага, заставляет его с благосклонностью задерживаться перед выдающимися и исключительными предметами и не позволяет возникшим ощущениям замкнуться в себе; душа, полная впечатлений, чувствует стремление ими поделиться и щедро и охотно отдает все воспринятое ею для того, чтобы привлечь единомышленников. Несомненно, это верно и применительно к Канту, и нетерпение людей было столь велико, что его биография появилась еще при жизни; мне сложно судить, был ли Кант доволен





ею, нашли ли его почитатели в ней то, что желали. Однако все его друзья знают, что известие о ней вызвало его негодование.


Характеризуя Канта как ученого и самобытного мыслителя, вряд ли следует испытывать серьезные опасения, что образ его окажется искаженным, ведь его сочинения являются богатым источником, из которого биограф может черпать сведения. И если он хорошо знаком с предметом, которому Кант себя посвятил; если он сам стремится исследовать первопричины человеческого знания; если он и сам является самобытным мыслителем; если он достаточно беспристрастен, чтоб по достоинству оценить заслуги Канта; если он знает предшествовавшие труды эпохи, во время которой происходило становление Канта; и если он в состоянии оценить широту человеческого знания, тогда можно не опасаться, что образ великого ученого и самобытного мыслителя получится неудачным. Совсем иначе обстоит дело с характером, образом мыслей и поведением необыкновенного человека и писателя. Его сочинения содержат часто лишь незначительные проявления этих качеств, а кто может поручиться за то, что разум и сердце не находились в споре? Кто не знает, что писатели часто превосходно изображают нечто благое, однако сами при этом совершают скверные поступки? Загадка человеческого характера может быть разрешена лишь после тщательного, беспристрастного, а вернее всего, после ежедневного наблюдения за его изменчивыми настроениями и мельчайшими особенностями его привычек. Самые, казалось бы, незначительные детали могут подчас пролить много света на человека и указать на его оригинальность. Между тем отдельных высказываний часто недостаточно, и



только их совокупность позволяет вынести окончательное, решающее суждение. А разве для этого не требуется более близкого и длительного знакомства, более доверительного общения, которое дается не каждому? Надо видеть поступки человека не только в тех ситуациях, когда он знает, что за ним наблюдают, но и тогда, когда он думает, что свидетелей нет, и без оглядки на них отдается естественным устремлениям своего сердца. Насколько сужается тогда круг тех, кто с достоверностью может сказать что-либо о характере необыкновенного человека!


Именно так обстоит дело, когда речь идет о Канте, о чем можно судить по анекдотам, появившихся там и сям в печати еще при его жизни и слишком явно искажавших его образ, потому что их черпали из непроверенных источников или традиционно прибегали к преувеличению, или рассказчик приносил в них собственные фантазии, мнения и образ мысли. В таких характеристиках Канта и в будущем не будет недостатка, и весьма вероятно, что мир ученых будет удостоен еще изрядным их количеством.

Опасение по поводу подобных явлений и желание некоторых друзей прочесть нечто более достоверное о последних годах жизни Канта, изложенное каждодневным очевидцем, побудили меня к написанию этих строк. Раньше я и не помышлял об этом. Но когда о великом человеке в последние дни его жизни стали распространяться всякого рода противоречивые слухи, которые отчасти умаляли его заслуги и вынуждали меня к устным опровержениям, стало очевидно, что для меня, человека, хорошо его знавшего, является неременной обязанностью в письменной форме изложить свои наблюдения, рассказать о своем опыте и тем




самым предотвратить некоторые заметки, которые могли бы ввести в заблуждение даже почитателей Канта. Разве не обидело бы всех его друзей, если бы человеческие слабости великого мужа были описаны некомпетентными торговцами анекдотами, пятнающими чистоту его души и безупречность характера? Разве отважился бы себялюбивый остряк с ехидным злорадством подступить к мертвому льву, если бы опасался, что кто-то другой, кто гораздо точнее наблюдал и лучше знал Канта, может разоблачить голословность его утверждений?

Может быть, изображение Канта в домашней обстановке, в узком кругу близких людей, как хозяина в обращении с прислугой и даже как уже немощного старца может дать повод для некоторых антропологических и психологических размышлений. Кроме того, я знаю по опыту, что особенно люди, бывшие здесь проездом, настойчиво осведомлялись о малейших его привычках и домашнем распорядке. Всё это, смею надеяться, станет оправданием мне, когда я буду описывать этого человека, сыгравшего главную роль на большой сцене ученого мира и снискавшего аплодисменты почтенной публики, без прикрас, хвастовства и блеска обнажая его человеческую сущность. По крайней мере, я могу не опасаться, что его появление в домашнем одеянии обернется ему во вред, поскольку он был любезен в любом платье. Несомненно, найдутся те, кто хотел бы знать Канта не только по его сочинениям, но и поближе, увидеть его и с другой стороны, чтобы познакомиться не только с величием его личности, но и с его человеческими качествами. Художник, желающий верно запечатлеть черты оригинала, наблюдает одно и то же явление в разных ситуациях и положениях, не



упускает при этом из виду также и теневую сторону, чтобы изобразить всё правильно, а не представить взору лишённую тени отвратительную китайскую картину или, слишком насыщенно нанося один и тот же цвет, окрасить свое живописное произведение в чересчур темные и мрачные тона.

У Канта, как и у любого человека, тоже была своя теневая сторона, свои слабости, которые, тем не менее, не могли и не смогут отнять у его светлых сторон их ясности и очевидности. Большинство из них были не его виной, а следствием человеческой природы при достижении глубокой старости, медленному, но непреклонному наступлению которой не могли воспрепятствовать ни сила его духа, ни высокий уровень образования, ни даже его душевная доброта. Восемьдесят лет странствовал он по своему жизненному кругу, не удивительно, что при этом он возвратился наконец к тому пункту, из которого вышел! Он, распространявший лучи света, даже в слабости сохранял свой блеск — как солнце при затмении, когда кажется, что оно его утратило, — и не терял его, как теряет свой поддельный мерцающий свет убывающая луна. Не претендуя на то, чтобы стать биографией Канта, не стремясь поставить под сомнение другие его биографии, эти страницы призваны ограничиться лишь тем, чтобы представить факты, которые другие, при всей пронизательности, искусности и образованности, не могут точно знать, или о чем они, руководствуясь своими соображениями о чести биографов, желают умолчать. Ученному предмет моего рассказа может показаться неинтересным, зато многие из друзей Канта, не видевших его в последние годы жизни, и значительная часть публики настоятельно желают, чтобы не были утрачены




даже детали, кажущиеся незначительными. И если какой-нибудь биограф, самоотверженно пожертвовавший долей своего высокого искусства, решился бы изложить особые обстоятельства, мелкие привычки и высказывания Канта, — где бы он их нашел, если бы ему не предоставил их некто, кто был с Кантом на дружеской ноге, каковая возможность представилась мне в последние годы его жизни.

Именно с этой точки зрения я и прошу оценивать эти страницы. Их ценность состоит в чистейшей и неподдельной правде, от которой я не отойду ради прикрас и преувеличений, поскольку буду тщательно следить, чтобы ложь не закралась в них вопреки моему желанию. Кроме того, я пишу на глазах у людей, часть из которых еженедельно, а кто-то и чаще, наблюдали за ним своим зорким оком, и от порицания которых не ускользнули бы неверные утверждения. Но даже они знают, что отдельные высказывания Канта в последние годы его жизни и в другое время различались и что мне он рассказывал некоторые вещи, которые от других скрывал.

Можно было бы сделать эти страницы занимательнее, попытавшись приукрасить или преувеличить то или иное обстоятельство в какой-либо истории о Канте. И все же увлекательность должна всегда уступать правде, и лучше пусть отсутствует первая, нежели последняя, даже если эта строгая необходимость сообщить правду заставит меня покинуть мою тихую уединенность и предстать пред публикой в большей степени, чем я бы того желал.


О некоторых благородных чертах, свойственных сердцу Канта, о некоторых его благосклонных высказываниях в мой адрес никто бы так и не узнал, если бы я из излишней скромности не упоминал о самом себе.



Но меня бы неправильно поняли, если бы посчитали такие случаи тщеславием и мелочным стремлением связать свое имя с великим человеком, чтобы вследствие этого получить долю его известности. Я далек от подобных целей. Кант даровал мне свое доверие. Был ли я достоин такой чести, сделал ли то, что обязан был сделать при таких обстоятельствах, в таком положении, имея счастье состоять с ним в таких отношениях, — об этом будут судить друзья Канта, ныне еще живущие. Судя по известным мне до сих пор высказываниям, я могу рассчитывать на их одобрение, поскольку выслушивал их мнения о моей работе и добросовестно и с благодарностью следовал их советам и предложениям по ее улучшению.


А теперь перейдем к делу. Первый вопрос: как я оказался рядом с Кантом?

Наше знакомство началось не в последний период его жизни, и тому, что между нами установились доверительные отношения, предшествовало более десятка лет. В 1773 или 1774 году (точно не помню) я стал его слушателем, а позже — секретарем; благодаря последнему обстоятельству, у него со мной установились потом более близкие отношения, чем с другими слушателями. Он позволял мне безвозмездно, без просьб о том с моей стороны, посещать его лекции. В 1780 году я покинул академию и стал проповедником. Несмотря на то что я остался в Кёнигсберге, мне казалось, что в моем новом облачении я не то чтобы был совсем забыт Кантом, но, во всяком случае, был лишен общения с ним. В 1790 году я снова встретился с ним на свадьбе одного из здешних профессоров. За столом Кант общался со всем обществом; а когда после трапезы каждый выбрал себе для общения собеседника, он по-




дружески подсел ко мне и заговорил со мной о моем тогдашнем пристрастии — цветоводстве — и, к моему изумлению, с большим знанием дела продемонстрировал полную осведомленность о моем тогдашнем положении. При этом он вспомнил прежние времена, выразил дружеское участие в моих жизненных обстоятельствах, весьма удовлетворявших меня, и заодно высказал желание, чтобы я иногда, по его приглашению, заглядывал к нему на обед, если мне будет позволять время. Когда он вскоре после разговора собрался уходить, то предложил мне, поскольку нам было по пути, проехаться с ним до дома. Я принял это приглашение, проводил его, был зван к нему на следующей неделе и сразу должен был назначить день недели, наиболее удобный для меня, чтобы принимать его приглашения в дальнейшем. Для меня было непостижимым такое обходительное обращение Канта со мной. Поначалу предполагал, что кто-то из моих добрых друзей рассказал ему про меня больше хорошего, чем я того заслуживаю; но дальнейший опыт общения с ним показал, что он часто справлялся о здоровье своих бывших слушателей и искренне радовался, когда у них все было благополучно. Так и меня он тоже не совсем забыл.

Это возобновившееся знакомство с ним пришлось на то время, когда он изменил порядок домашней жизни. До этого он ел за табльдотом; теперь он начал вести свое собственное домашнее хозяйство и каждый день приглашал двух своих друзей, а на какое-нибудь небольшое празднество — пятерых, поскольку строго следил за правилом, согласно которому общество за обеденным столом, включая его самого, не должно быть меньше количества граций и не больше количества муз. Вообще, в устройстве его хозяйства, особенно в



том, что касалось стола, было нечто своеобразное, оригинальное и местами отличное от будничного этикета и принужденности обычных светских условностей, при этом без пренебрежения манерами, что подчас случается в обществе, где отсутствуют дамы. Когда еда была готова, в комнату, размеренно открывая дверь, входил Лампе со словами: «Суп подан». Все спешили последовать приглашению к столу, и привычная беседа о погоде в тот день, начатая по дороге к столовой, продолжалась и в начале трапезы. О важнейших событиях дня, о победах и даже о заключении мира нельзя было разговаривать ранее, чем садились за стол. Кант обращался с предметами беседы бережливо и хотел, чтобы их обсуждали по очереди, один за другим. Его рабочий кабинет никогда не был местом, где велись разговоры о политике. Но как только он садился за стол, по Канту весьма хорошо было видно, что после длительной и напряженной работы он очень радовался кушаньям и беседе.

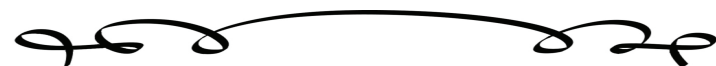
Его слова «итак, господа...», произносимые, когда он садился на стул и брал салфетку, были явным примером того, что труд — лучшая приправа для кушаний. На его столе всегда стояли три блюда, небольшой десерт и вино. Каждый сам накладывал себе пищу, и когда кто-то пытался, как говорится, «поухаживать» при этом друг за другом, Кант чувствовал такую неловкость, что почти каждый раз скромно порицал это. Ему было неприятно, когда кто-то мало ел, и он считал это жеманством. Тот, кто первый принимался за блюдо, был для него самым приятным гостем, потому что тогда очередь класть себе кушанья быстрее доходила до него. При этом он стремился, чтобы начало трапезы не затягивалось, так как он работал с раннего утра и до



самого обеда ничего не ел. Поэтому в последнее время Кант, скорее из-за некоторого недомогания, чем от голода, едва мог дожидаться часа, когда приходил последний гость.


День обедов у него был праздником для его сотрапезников. Приятные назидания, при коих он, однако же, не придавал себе вид учителя, с пользой услаждали трапезу, и время от часа дня до четырех-пяти часов, а порой и дольше, пролетало, не вызывая ни малейшей скуки. Он не терпел затишья, или, как он выражался, штиля, называя этим словом те редкие моменты, когда разговор становился менее оживленным. Он всегда умел завязать общую беседу, замечал пристрастия каждого и с участием говорил о них. Происшествия в городе должны были быть поистине необычайными, чтобы они были упомянуты за его столом. Почти никогда беседа не имела отношения к предметам критической философии. Он не испытывал нетерпимости к тем, кто не разделял его интереса к научным занятиям, как это, пожалуй, случается у некоторых других ученых. Его беседы были настолько доступны, что посторонний человек, читавший его труды, но лично с ним не знакомый, едва ли мог бы сделать вывод из разговора, что его собеседник действительно Кант. Если разговор касался предметов физиологии, анатомии или обычаев некоторых народов и при этом упоминались вещи, которые по легкомыслию могли быть восприняты в значении непристойном, то о них говорилось с серьезностью, выдававшей, что не только в себе самом, но и в своих сотрапезниках считал он несомненной предпосылкой «*Sunt castis omnia casta*»¹.

¹ Лат.: чистым все чисто, или для непорочного все непорочно.




При выборе сотрапезников он, помимо обычных правил, непременно обращал внимание и на два других. Во-первых, чтобы внести разнообразие в беседу, выбирал их из разных профессий: посыльные, профессора, врачи, священнослужители, образованные торговцы, а также молодые студенты. Во-вторых, все его гости были моложе, чем он сам, часто даже значительно моложе. При этом он руководствовался двойным соображением: те, кто были в расцвете сил, приносили в общение оживление и радостное расположение духа, к тому же это позволяло уберечь себя, насколько возможно, от тоски по тем, к кому он привык и кто раньше уйдет из этой жизни. Ибо, когда друзья его опасно заболели, он так волновался, настолько далеко заходил в своем беспокойстве, что иногда казалось, будто он не сможет вынести их смерти. Он часто справлялся об их здоровье, с нетерпением ожидал кризиса болезни, и это даже отвлекало его от работы. Но как только они умирали, он проявлял спокойствие, можно было бы даже сказать — безразличие. Жизнь в целом, а особенно болезнь, он расценивал как постоянное изменение и не уставал наводить справки, поскольку это было не напрасно, смерть же он рассматривал как перманентное состояние, о котором достаточно одной вести, ведь изменить что-либо уже невозможно. И тогда он спокойно продолжал работать, потому что все его тревоги уходили. Невзирая на описанные правила и меры предосторожности при выборе собеседников, смерть все же разлучала его с некоторыми из них. Особенно сильно повлияла на него, несмотря на всю его сдержанность, потеря инспектора Эренбота, молодого человека с пронизательным умом и подлинной широчайшей эрудицией, которого он крайне высоко ценил.






Предметы бесед выбирались по большей части из сфер метеорологии, физики, химии, естествознания и политики, но особенно остро обсуждались события дня, о которых сообщалось в газетах. Новостям, где не указывались время и место события, он не доверял, как бы правдоподобно они не звучали, и не считал нужным даже упоминать о них. Его глубокая проницательность в вопросах политики позволяла видеть подоплеку событий, так что иногда казалось, что слушаешь известное дипломатическое лицо, хорошо знакомое с тайнами кабинетов. Во время французской революции он выдвигал некоторые предположения и парадоксы, особенно в отношении военных операций, которые сбывались так же точно, как и его великое предположение, что между Марсом и Юпитером в планетной системе находится не пустое пространство, в чем он смог убедиться, когда Пиацици из Палермо была обнаружена Церера, а Д. Ольберсом из Бремена — Паллада. Эти открытия стали для него сенсацией, он часто и много о них говорил, не упоминая при этом, однако, того, что он о том уже давно догадывался. Поразительным было его мнение о том, что Бонапарт не могло быть намерения высадиться в Египте. Он восторгался искусством, с которым тот скрывал свое истинное намерение высадиться в Португалии. В связи с большим влиянием Англии на Португалию он рассматривал эту страну как английскую провинцию, после завоевания которой Англии мог бы быть нанесен чувствительный удар, поскольку ввоз в Португалию английских текстильных изделий и вывоз оттуда портвейна, этого незаменимого излюбленного напитка англичан, был бы прекращен. Привыкнув устанавливать некоторые факты априори, он оспаривал высадку в Египте даже тогда, когда газе-




ты сообщили о ней как об успешно состоявшейся, и считал это предприятие политически весьма неразумным и недолговечным. Его друзья были достаточно уступчивы, чтобы не противоречить, и успех всей экспедиции был для него известным утешением. Велись дебаты о новейших изобретениях и событиях, тщательно взвешивались аргументы за и против, что делало беседу за столом поучительной и приятной. Но Кант проявлял себя не только как интересный собеседник, коим он был, в особенности в ранние годы, но и как любезный и либеральный хозяин, который не знал большей радости, чем та, когда его гости весело и бодро, насытив дух и тело, покидали стол после сократической трапезы.

Сразу после обеда Кант, как правило, совершал мочиюн, столь необходимый для здоровья при сидячем образе жизни. Однако он намеренно никогда не брал компаньона для прогулки. Из двух имевшихся на то причин одну угадать проще, нежели другую. Под открытым небом он хотел свободно предаваться своим мыслям либо после окончания беседы с людьми желал заняться наблюдением природы. Вторая причина более своеобразна, а именно: он хотел дышать только носом и направлять сырой и холодный воздух не сразу прямо в легкие, а позволить ему проделать сначала большой крюк. Эти меры, которые он рекомендовал всем своим друзьям, считал отличной профилактикой кашля, насморка, хрипоты и иных ревматических приступов, что, вероятно, было оправданно, ибо сам он страдал от этих заболеваний крайне редко. Даже у меня соблюдение от случая к случаю этого предписания, хоть и не совсем точное, сделало эти недуги более редкими. После шести часов вечера он садился за свой рабочий




стол — это был совершенно обычный и ничем не выдающийся домашний стол — и читал до вечерних сумерек. В это столь благоприятное для размышлений время он задумывался над прочитанным, если оно стоило особых размышлений; или посвящал эти спокойные мгновения планированию того, что он будет говорить на следующий день на своих лекциях или напишет для публики. Тогда он, независимо от того, зима была или лето, занимал свое место у печки, откуда через окно мог видеть башню Лёбенихта. Ее он созерцал во время таких размышлений, или, скорее, его взгляд часто останавливался на ней. Он не мог подобрать подходящих слов, чтоб выразить, насколько благотворным для его глаз является расстояние до этого объекта. Должно быть, его глаза уже привыкли к этой ежедневной панораме в сумерках. Когда впоследствии в саду его соседа несколько тополей выросли настолько высоко, что заслонили башню, это стало его беспокоить и мешать размышлениям, поэтому он пожелал, чтобы деревьям обрезали верхушки. К счастью, владелец сада был человеком благоразумным, испытывавшим к Канту любовь и глубокое уважение и вдобавок поддерживавшим с ним близкие отношения; ради него он пожертвовал верхушками тополей, так что башня снова стала видна, и Кант, созерцая ее, мог спокойно предаваться размышлениям.


Когда было светло, он продолжал чтение до десяти часов вечера. За четверть часа до сна он старался избавиться, насколько это было возможно, от напряженных размышлений, от любого умственного труда, требующего малейших усилий, дабы не испытывать ненужной бодрости перед отходом ко сну, ибо даже незначительные проявления бессонницы были ему крайне неприят-



ны. К счастью, она почти не беспокоила его. Не прибегая к помощи слуги, он в одиночестве разоблачался в своей спальне, но всегда лишь настолько, чтобы иметь возможность в любое мгновение предстать пред людьми, не смущая их и не смущаясь самому. После этого ложился на матрац и укутывался в одеяло, летом — хлопчатобумажное, осенью — шерстяное; при наступлении зимы использовал их оба, а в лютые морозы прибегал к пуховому одеялу, верхняя часть которого, укрывающая плечи, была не набита пером, а выполнена из толстого слоя шерсти. Благодаря многолетней привычке, он приобрел особое умение закутываться в одеяла. При отходе ко сну он сначала садился на кровать, затем с легкостью нырял в нее, протягивал один угол одеяла через плечо под спиной к другому плечу и с особой ловкостью подтягивал другой угол под себя и к животу. И вот в таком виде, напоминая то ли тюфяк, то ли сплетенный кокон, он ожидал наступления сна. Он часто говорил своим сотрапезникам: «Когда я ложусь таким образом спать, я спрашиваю самого себя: может ли человек быть здоровее, чем я?» Его здоровье означало для него не только отсутствие любой боли, у него было прекрасное самочувствие и он истинно наслаждался им, поэтому тотчас же засыпал. Никакая страсть не побуждала его к бодрствованию, никакое горе не могло помешать его сну, никакая боль не могла его разбудить. В самые суровые зимы он спал в холодной комнате; только в последние годы жизни по совету друзей он велел слегка отапливать спальню. Он был врагом всего, что называют заботой о себе и уходом за собой. Упомянутое пуховое одеяло было единственным, что защищало его от холода. По его словам, ему хватало пяти минут, чтобы согреться. Если




ему приходилось по какой-либо причине покинуть свою комнату в темноте, что происходило частенько, надежным проводником к постели ему служила веревка, которую он заново натягивал каждый вечер. Его спальня не освещалась ни летом ни зимой: и днем и ночью окна были закрыты ставнями по весьма своеобразной причине. Из-за ошибки в наблюдениях он пришел к необычной гипотезе о происхождении и размножении клопов, которую почитал, однако, за непреложную истину. Дело в том, что в другой квартире он всегда держал ставни закрытыми для защиты от солнечных лучей, но однажды на время короткой загородной поездки забыл запереть их и, вернувшись, нашел свою комнату полной клопов. Поскольку он считал, что раньше у него клопов не было, то и сделал вывод, что свет является необходимым источником существования и продолжения жизни этих паразитов, а защита от проникновения солнечных лучей — средством, предотвращающим их распространение. Вероятно, другие обстоятельства укрепили его в этой мысли. Возможно, уборка, произведенная без его ведома, изгнала их, а поскольку он в то время снова тщательно закрывал ставни, то и поверил, что это темнота истребила исчезнувших насекомых. На истинности своей теории он настаивал меж тем столь убежденно, что любое едва заметное сомнение, любое малейшее раздумье вызывало в нем обиду. Даже аргумент, способный убедить любого другого, что во времена его первого слуги кровать его была полна этими паразитами, не мог нарушить его уверенности, потому что он возразил бы, что тот не исполнял своих обязанностей закрывать ставни, и дневной свет мог беспрепятственно проявлять свою созидательную силу в сотворении этих насекомых. Он




никогда не жаловался на неприятности, которые причиняли ему эти живые существа, но, вероятно, они были ему вдвойне неприятны, поскольку он был знаком с ними по собственному опыту; кто знает, не пошатнулась ли слегка от этого его уверенность в том, что сила духа преодолагает плотские ощущения. Я оставил его при своем мнении, заботился об уборке его спальни и постели, в результате чего количество клопов уменьшилось, хотя створки и сами окна почти ежедневно открывались без его ведома, чтобы в комнате был свежий воздух. Спустя некоторое время он стал спать спокойнее, даже не подозревая почему.

Ни днем ни ночью Кант не потел. Возможно, его натура уже привыкла, скорее из-за страха, чем вследствие тщательной заботы, избегать всего того, что могло бы вызвать испарину. Удивительно при этом было то, что в его гостиной обычно было довольно жарко, и он чувствовал себя несчастным, если температура понижалась хотя бы на один градус. Термометр в этой комнате должен был неизменно показывать 75 градусов по Фаренгейту, и если в июле и августе температура не достигала этого значения, он распоряжался отапливать гостиную, пока столбик термометра не поднимется до нужной отметки. Жарким летом он ходил легко одетым, всегда в шелковых чулках, которые никогда не подвязывал, но старался поддерживать их путем самостоятельно придуманного приспособления. В капсуле, напоминающей корпус карманных часов, но меньшей по размеру, в заводном барабане, вокруг которого была обмотана, как цепочка в часах, жильная струна, располагалась часовая пружина, сила натяжения которой могла быть увеличена или уменьшена при помощи стопорного механизма. К обоим концам двойной стру-




ны были приделаны два крючочка, которые прицеплялись с двух сторон к чулку. Возле кармана для часов находились два похожих меньших кармана для капсул, имевшие внизу небольшое отверстие, через которое проходили струны с находившимися на них крючками. Если бы это устройство не было так оригинально и не указывало одновременно на любовь Канта к порядку и на его заботу о здоровье, — ведь он следовал правилу, что нельзя сдерживать кровообращение туго затянутыми подвязками, — оно бы вряд ли заслуживало упоминания. Для Канта эти эластичные подтяжки для чулок были настолько необходимы, что он чувствовал себя растерянно, когда они запутывались; к счастью, я с легкостью устранял эту неловкость. Поскольку уже упомянутый легкий костюм все же не вполне предотвращал летом появление испарины при движении на открытом воздухе, у него было наготове еще одно профилактическое средство. Он останавливался где-нибудь в тени и стоял в таком положении, словно ждал кого-то, так долго, пока побуждение к потоотделению не проходило. Но если душной летней ночью у него проступал хотя бы след пота, он упоминал этот случай, словно тот обладал особой важностью, как происшедшее с ним отвратительное событие.

Утром, без пяти минут пять, независимо от того, лето это было или зима, его слуга Лампе входил к нему в комнату, по-военному строго восклицая: «Пора!» При любых условиях, даже в тех редких случаях, когда ночь была бессонной, Кант, не медля ни секунды, повиновался суровой команде. Часто за столом он со своеобразной гордостью задавал своему слуге вопрос: «Лампе, приходилось ли вам за тридцать лет хотя бы однажды утром будить меня дважды?» — «Нет, досточтимый




господин профессор», — таким был уверенный ответ бывшего воина. Стоило часам пробить пять, Кант уже сидел за столом, чтобы выпить, как он выражался, чашку чая, которую он в раздумьях, а также для того, чтобы она оставалась теплой, наполнял снова и снова, так что в итоге получалось уже две чашки, а то и более. При этом он, надевая для такого случая на голову поношенную шляпу, выкуривал свою единственную за весь день трубку, притом с такой скоростью, что в ней оставался тлеющий конус пепла, который он обычно именовал голландцем. Куря трубку, он так же, как и вечером у печи, обдумывал свои планы и в 7 часов обычно шел читать лекции, после которых усаживался за письменный стол. Без четверти час вставал и кричал кухарке: «Уже без четверти!» После супа выпивал, как он это называл, глоточек, состоявший из полстакана полезного для желудка вина, венгерского или рейнского, а если такового не было, то бишоф. Это вино приносила кухарка. Он шел с ним в столовую, сам себе его наливал и закрывал стакан листом бумаги форматом в шестнадцатую долю, чтобы предотвратить испарение. Его сотрапезники знали, что это было для Канта важным делом, которое он вряд ли доверил бы кому-то, и они могли бы подтвердить сказанные здесь слова. После этого Кант даже в последние годы жизни ждал своих гостей в полном облачении. Произнося речь за столом в кругу приближенных, он считал неуместным появляться в шлафроке и говорил по этому поводу: «Нельзя быть лежебокой».

Так один день походил на другой, и это однообразие не казалось ему ни утомительным, ни скучным; дни Канта проходили бодро, в строгом порядке. Именно этот порядок и его неизменная диета, казалось, продле-



вали ему жизнь, поэтому он рассматривал свое здоровье и свой почтенный возраст почти как собственное творение или, по его словам, как произведение искусства, умение сохранять меру и гармонию при всех опасностях и сомнениях, которые угоняют нас жизнь. Он держался, как искусный гимнаст, который долго эквилибрирует на плохо натянутом канате, ни разу с него не соскользнув. Он с триумфом выстаивал против приступов любой болезни, но был при этом настолько объективен, что говорил: даже как-то неприлично жить так долго, как он, потому что таким образом он отнимает хлеб у молодых людей. Эта забота о сохранении здоровья была также причиной, по которой его столь интересовали новые медицинские системы и изобретения. Броуновскую систему считал в этой связи важнейшим открытием. После того как ее перенял Вейкард и благодаря ему она стала известной, Кант также познакомился с ней. Он считал ее значительным прогрессом не только в области медицины, но и вообще в истории человечества; находил, что она соответствует обычному движению, по которому следует человечество, — после множества сложных обходных путей вернуться наконец к простому; считал ее многообещающей, в том числе и в экономическом отношении, для пациентов, бедность которых лишает их возможности использовать дорогие и сложносоставные лекарства. Он мечтал о том, чтобы у этой системы появилось больше приверженцев и она вошла в ежедневный обиход.

Однако совершенно противоположного мнения придерживался он в самом начале, когда д-р Дженнер обнаружил свое открытие коровой оспы, имеющее позитивное значение для человека. Он не признавал за




ней названия прививки от оспы еще долгое время, думал даже, что человечество слишком уподобляет себя животным и что прививка вызовет у человека своего рода зверство (в физическом смысле). Он опасался, что примесь животных миазмов в крови или по крайней мере, в лимфе может сделать человека нестойким к эпидемиям скота. В конце концов, он сомневался, в связи с отсутствием достаточных знаний, в защитной силе ее против человеческой оспы. Даже если основной для этого было недостаточно, ему доставляло удовольствие взвешивать все доводы за и против.

Опыты Беддо с жизненным газом² и удушающим веществом³, в которых вдыхание первого приводило к туберкулезу, а вдыхание другого излечивало от него, так же, как и метод Рейха сбивать температуру, произвели на него большое впечатление, которое, однако, после того как эти открытия, особенно последнее, ни к чему не привели, пропало само собой. Теорию гальванизма и описание этого феномена он, несмотря на все приложенные для этого усилия, не вполне смог понять. Работа Августина об этом предмете была одной из последних, прочитанных им, и на полях которой он еще делал пометки. В последнее время он поручал мне делать выдержки из того, что я читал по этому вопросу.


Постепенно и к нему подкрадывались слабости возраста, становившиеся все заметнее. Казалось, то, что всю жизнь было недостатком Канта, но доселе проявлялось лишь в незначительной степени, а именно рассеянность в делах повседневных, с годами нарастало во всё большей степени. Он сам признавался, что давно

² Кислород.

³ Азот.



замечал за собой этот недостаток, и приводил в качестве примера следующую историю из ранних лет своей жизни. Будучи совсем маленьким мальчиком, он по дороге из школы остановился по определенным, легко угадываемым причинам на несколько минут под одним из окон, повесил свои книги на засов ставней и забыл их снять. Вскоре после этого он услышал робкий оклик старой, доброй, незнакомой ему женщины, которая, с трудом переводя дыхание, спешила вслед за ним, чтобы со всей доброжелательностью вручить ему его книги. И в поздние годы своей жизни он не забыл поступка этого человека и не делал тайны из того, что он и ранее был забывчив. Но то, что раньше случалось редко, с возрастом происходило все чаще. Он начал рассказывать одно и то же по нескольку раз в день. Самые отдаленные события прошлого со всей живостью и точностью стояли у него перед глазами, а настоящее производило на него, как это часто бывает со стариками, более слабое впечатление. Он мог долго, с удивительным мастерством читать наизусть длинные немецкие и латинские стихотворения, но только такие, в которых сочетались вкус, тонкий юмор и приятное комическое изображение и которые, таким образом, могли премного способствовать увеселению общества. Выразительные места из латинских поэтов, в особенности целые фрагменты из «Энеиды», легко всплывали в его памяти, в то время как только что сказанное из нее улетучивалось. Он сам замечал ухудшение своей памяти и записывал поэтому, во избежание повторов и забываясь о разнообразии разговора, темы на маленьких листочках, на конвертах, на обрывках бумаги, и число их в последнее время так росло, что нужную записку едва можно было отыскать. При побелке его кабинета в



августе 1802 года он хотел их сжечь. Я попросил разрешения оставить их себе, и он отдал их мне. Некоторые из них я до сих пор храню как реликвии; пересматривая их, я вспоминаю сказанное на эти темы, бывшие приятные и полезные разговоры. В качестве примера возьму наугад, без всякого выбора одну из этих записок и приведу дословно то, что в ней говорится, за исключением того, что сказано о кухне или не предназначено для публики: «Удушающая кислота — это название лучше, чем азотная кислота. Признаки здоровья. Clerici⁴, Laici⁵. Te Regulares⁶, эти Sekulares⁷. Как я обучал моих учеников полностью предотвращать насморк и кашель (дыхание носом). Слово «следы» неверно, нужно говорить «стопы». Удушающее вещество азот является способной к окислению основной азотной кислоты. Подшерсток (φλομος), который есть у ангорских овец, да даже и у свиней, которые вычесываются в высоких горах Кашмира, затем становится знаменит в Индии, поскольку дает название шалам, которые очень дорого продаются. Сходство женщины с розовым бутонem, с распутившейся розой и с шиповником. Ошибочно считавшиеся духами гор никель, кобальт. От скалы и т. д.» Вместо этих записочек я делал ему маленькие книжицы из одного листа почтовой бумаги, сложенные форматом в шестнадцатую долю и переплетенные.


Вторым признаком его немощи была его теория о действительно странном феномене кошачьей смерти в Базеле, Вене, Копенгагене и других местностях. Он считал ее последствием господствующего в то время, по

⁴ Лат.: клирики, священники.

⁵ Лат.: миряне.


⁶ Лат.: живущие по канону.

⁷ Лат.: миряне.



его мнению, электричества особого рода и его пагубного влияния особенно на этих животных, которые сами по себе наэлектризованы. Кроме того, он считал, что видел в то и в последующее время особую фигуру из облаков. Ее границы представлялись ему не так четко обрисованными, небо казалось ему более равномерно затянутым, без напоминающих горы облаков. Причиной тому тоже должен был быть этот род электричества. Но не только облака, похожие на мыльную воду, не только смерть кошек, нет, и свою тяжесть в голове он возводил к той же причине. Но то, что он называл тяжестью в голове, было, скорее, неважное самочувствие, вызванное наступающей старостью, которое не позволяло думать с той же легкостью и ясностью, к какой он привык. Он избегал контраргументов против своей теории. Его убежденность в собственной правоте усиливалась еще и тем, что его друзья, щадя его и проявляя деликатность, прямо ему не возражали. Ему охотно прощали субъективную убежденность в том, что его состояние зависит от влияния погоды, поскольку ничто так не способствовало переменам, как эта надежда, пусть и на отдаленное будущее, которая снова вселяла в него мужество и удовлетворенность. Кто из участливых друзей этого страдальца смог бы бросить тень ненужных сомнений на его все еще светлое будущее, кто отнял бы у него надежду на выздоровление, противореча ему? Его ежедневное и с каждым днем все более уверенное утверждение, что не что иное, как этот вид электричества является причиной его недомогания, делало очевидным для его друзей, что природа берет свое, что он начинает сгибаться под ношей лет. Кант, великий мыслитель, перестал мыслить.

Возможно, кто-то усмотрит в этом своего рода скрытое тщеславие, будто бы он, осознающий свое былое величие, хотел отвергнуть, утаить, приукрасить




надвигающуюся немощ? Ничего подобного, его собственные высказывания решительно опровергают любые наговоры подобного рода.

Уже в 1799 году, когда немощ его была едва заметна, признавая ее, он однажды сказал в моем присутствии: «Господа, я стар и слаб, вам следует обращаться со мной как с ребенком».

Возможно, кто-то подумает, что он боялся приближающейся смерти и в особенности, из-за ощущения усиливающейся тяжести в голове, грозящего ему каждую минуту удара. Возможно, из-за долгой привычки жить у него возникла привязанность к жизни, которую часто испытывают старики? Нет! И это не так. Он всегда оставался способен отречься от нее и спокойно ждать прихода смерти. По этому поводу также можно привести его высказывания, которые, вырванные из верного контекста, уже публично цитировались в других местах и которые стоят того, чтобы их сохранить. «Господа, — говорил он, — я боюсь не смерти, я смогу умереть. Я клянусь вам перед Богом, что если этой ночью я почувствую, что умру, я подыму руки, сложу их и скажу: — Слава тебе, Господи! Вот если бы злобный демон сидел у меня за спиной и шептал мне в ухо: «Ты сделал людей несчастными!», — тогда другое дело». Это слова поистине достойного мужа, который не купил бы себе жизнь, пойдя на неблагоприятный поступок, который часто обращался к словам, ставшим для него почти девизом: «*Crede summum nefas, animam praeferre pudori et propter vitam vivendi perdere causas*»⁸. Тот из его сотрапезников, кто был свидетелем

⁸ Лат.: «Помни, что высший позор — предпочесть жизнь чести и ради жизни утратить основание жизни» (Ювенал, Сатиры, VIII, 83—84).




разговора Канта о своей смерти, подтвердит, что никакого лицемерия за этим не таилось.

Постепенно убывающие силы уставшего от своих работ старика вносили изменения в его сложившийся образ жизни. С давних пор он привык ложиться спать в 10 часов, а в 5 часов его будили. Последней привычке он остался верен, а вот первой — нет. Хотя у него еще были жизненные ресурсы, ему теперь пришлось бережно обращаться со своими силами. Сначала он добавил ко времени сна несколько минут, которые потом превратились в часы. В 1802 году он уже ложился спать в 9 часов, а потом шел в постель и еще раньше. Он чувствовал, что увеличение времени, отводимого на отдых, придает ему силы. Он почти верил, что нашел верное средство умножить свои силы, стал их поэтому больше расходовать, но малоуспешно.


Свои прогулки он сократил до короткого променада в Королевском саду недалеко от дома. Чтобы тверже ступать, он следил за своими движениями. Он ставил ногу перпендикулярно земле, несколько притопывая, отчасти для того, чтобы увеличить основу, соприкасаясь с землей всей подошвой, отчасти чтобы тверже стоять на песчаной почве. Тем не менее однажды на улице он упал. Две дамы поспешили, чтобы помочь ему, если он не сможет встать сам. Он поблагодарил за деятельное участие этих неизвестных ему персон и вручил, будучи все еще верен основам учтивости, одной из них розу, которую как раз держал в руке. Она приняла эту розу с огромной радостью и сохранила на память.

Возможно, этот случай стал причиной, по которой он вскоре совсем прекратил свои прогулки. Мнения его друзей по этому поводу были различны: одни утверждали, что Кант из-за слабости не мог более выходить,




другие — что отказ от движения сделал его еще слабее. Его работа, состоявшая скорее в чтении, нежели в написании чего-либо, продвигалась все медленнее. Любое занятие было для когда-то столь деятельного мужа утомительным, особенно если оно было связано с физической активностью. Его ноги все сильнее отказывались слушаться его. Он падал и при ходьбе, и стоя, но почти всегда не причиняя себе вреда, смеялся над каждым таким случаем и утверждал, что из-за легкости своего тела не может тяжело упасть. Часто, особенно по утрам, он засыпал от усталости на своем стуле, падал во сне вниз, не мог сам себе помочь и продолжал спокойно лежать, пока кто-нибудь не приходил. Позднее обычный стул был заменен другим, с устойчивой опорой, и с этого времени такие несчастные случаи больше с Кантом не происходили.

Такое внезапное засыпание могло иметь более губительные последствия иного рода. Читая, он три раза подряд наклонял голову так близко к свече, что хлопковый ночной колпак загорелся ярким пламенем на его голове. Нисколько того не испугавшись, он схватил его руками, не обращая внимания на боль, причиняемую огнем, положил его на середину пола и погасил, топча ногами. Я объяснил ему, как опасно такое рискованное предприятие, — ведь огонь мог перекинуться на его шлафрок, и он мог бы запросто сгореть, — стал ставить с этих пор на его стол стакан и бутылку с водой, чтобы они были наготове, распорядился изменить форму ночного колпака и просил его следовать моему совету, если еще произойдет подобный случай, не гасить огонь ногами. Эти меры предосторожности и увеличение расстояния до свечки, к которому Кант скоро привык, помогли предотвратить неприятности, которые могли навредить не только Канту, но и остальным.



Кант уже не мог заниматься денежными расчетами без ущерба для себя. Он платил одной честной женщине пять талеров за свечи, но вместо полгульдена дал ей целый гульден, то есть двойную сумму. Женщина уже собиралась взять деньги, но заметила ошибку Канта и протянула ему обратно половину суммы. Об этом своем просчете Кант тут же рассказал, чтобы не умолчать о честности этой женщины. Но, возможно, не все, кому он платил деньги, были столь щепетильны, как она. Наверняка кое-кто воспользовался слабостью Канта в неблагоприятных целях.

Несчастные случаи, испытанные им потери, ощущения усиливающейся слабости, а также убежденность в том, что вскоре ему понадобится посторонняя помощь, все больше привязывали Канта ко мне. Он постоянно делал какие-то наброски, чтобы потом обсудить их и советоваться со мной или для того, чтобы попросить меня доставить ему ту или иную необходимую ему вещь. В более ранние годы ему не нравилось, когда его друзья приходили не вовремя, а теперь он все настойчивее изъявлял желание, чтобы я, когда у меня есть время, заходил к нему посмотреть, чем он занят. Он выражал это желание в столь гостеприимной манере, что я охотно выполнял его просьбу. Но вскоре одно обстоятельство заставило меня отказаться от продолжения этих визитов. Я пришел лишь с целью посмотреть, не испытывает ли он каких-либо неудобств или недостатка в чем-то необходимом, не могу ли я помочь ему советом или делом, а он с видимым напряжением попытался играть роль хозяина, развлекающего гостя, и был скорее галантен, чем непосредственен. Я попробовал дать делу новый оборот и стал впоследствии сокращать свои визиты до нескольких минут,




чтобы избавить его от усилий, требовавшихся для беседы. Я оставался дольше, когда он просил об этом сам, но откланивался тут же, как только замечал, что общение его утомляет. Эта выверенная дистанция сохранялась некоторое время.

Но затем возникло еще одно обстоятельство, сделавшее необходимым более частые визиты. Его денежные дела вел до сих пор доктор Я.⁹, заслуженно пользовавшийся полным доверием Канта. Этот друг Канта покинул Кёнигсберг, и вместе с его отъездом прекратилась и та помощь, которую он оказывал Канту. Не смею думать, что, если бы этой разлуки не произошло, он так скоро сблизился бы со мной. Нерешительность, колебания, быстрая смена друзей, непостоянство в доверии не относились к недостаткам этого человека, тщательно выверявшего свои принципы, верного им в поучениях и твердо действовавшего в соответствии с ними.


Надо сказать, что и его сотрапезники усердствовали в том, чтобы оказывать ему посильную помощь, так что почти каждый взял на себя какую-то сферу его хозяйствования, один весьма ценимый Кантом иноземный друг даже заботился о его кухне. Ко мне он обращался, когда у него заканчивалось белье или что-то из одежды или в его доме необходимо было что-либо отремонтировать. Хотя подобные его просьбы удовлетворялись, ему не хватало кого-то, кто взял бы на себя его финансовые дела и домашние заботы.

Насколько искусен был Кант в умственных занятиях, настолько неприспособлен он был к домашней ра-

⁹ Иоганн Беньямин Яхман (1765—1832), медик, брат Рейнольда Бернарда Яхмана (1767—1843), педагога и биографа Канта.



боте. Лишь перо подчинялось ему, но не перочинный нож. Поэтому мне обычно приходилось затачивать перья под его руку. Лампе еще меньше умел устранять недостатки в хозяйстве. Он никогда не понимал, почему какая-то вещь не работает, более того, он лишь пытался применить силу, заменяя работу головы работой рук. При таких обстоятельствах хороший совет мог весьма пригодиться. Великий теоретик и мелкий практик в делах механики, Кант и Лампе, — тот лишь голова, этот лишь руки, — часто были озадачены самыми элементарными вещами. Тот обозначал проблему, необходимость помочь в каких-то вещах, этот старался устранить, но не проблему, а саму вещь, которую он часто ломал, неверно применяя силу. Канту было в высшей степени приятно, когда мелкие неисправности, такие как скрип двери или то, что она тяжело открывалась и закрывалась, устранялись тут же без посторонней помощи, легко и без лишнего шума, или если был поправлен сбившийся ход его часов (которые Кант так любил, что иногда говорил: если бы он оказался в бедственном положении, они были бы последним, что он продал). Мне, занимавшемуся ремесленными работами с механикой, подобные вещи удавались с легкостью. Привыкший к тому, чтобы сначала обнаружить причину неполадки и найти способ ее устранения, я легко находил ее и часто исправлял, не прибегая к инструментам. Скорость, с которой это иногда происходило, вызывала удивление и радость Канта, особенно в тех случаях, когда сам он считал беду неустранимой, так что он иногда говорил обо мне: «Он знает толк во всех вещах». Я бы скромно обошел молчанием это высказывание, если бы оно не раскрывало для меня секрета, почему Кант из всех своих сотрапезников выбрал



именно меня. Его иссякающие силы побудили его, вероятно, присмотреть себе кого-то, кто, по его выражению, мог бы дать дельный совет. Помимо этой причины, роль сыграло, видимо, понимание того, что связанные с разъездами дела других его друзей не позволяют им посвящать ему ежедневно столько времени, сколько ему действительно требовалось в его беспомощном состоянии. К этому добавлялось и то, что моя квартира располагалась неподалеку от его, и уверенность в том, что мне не грозили, в отличие от других его сотрапезников, далекие и долгосрочные служебные поездки, которые бы меня с ним разлучали.


Приведенное сплетение многих обстоятельств, без сомнения, доказывает что Кант выбрал меня своим помощником не потому, что пренебрег достоинствами других своих сотрапезников, а потому, что в сложившихся обстоятельствах я оказался подходящей фигурой. Возможно, дополнительной причиной того, что он выбрал меня, было и то, насколько быстро и пунктуально, при содействии моей семьи, я выполнял его поручения. Ему доставляло огромное удовольствие, когда вещь доставлялась быстро. Когда на свой вопрос: «Это можно сделать *тотчас же?*» — он получал ответ его же словами: «Да, тотчас же!», — то восклицал с нескрываемой радостью: «О! Это великолепно!» Простое «да» было для него слишком слабым возгласом.

В качестве третьего признака его немощи можно рассматривать то, что с ее нарастанием он одновременно терял чувство времени, особенно небольших его отрезков. Одна минута и даже, без преувеличения, более короткий период казались ему несопоставимо более долгим временем. Он никак не мог убедить себя в том, что выполнение с наивысшей скоростью какого-либо дела длилось недолго.




В начале его последнего года жизни ему пришлось в голову, вопреки его сложившимся привычкам, иногда, после проведенного за столом обеденного времени еще в полном присутствии сотрапезников, выпивать со своими гостями чашку кофе, особенно когда я обедал с ним; при этом, вопреки своему желанию, я должен был выкуривать трубку табака. Уже за день до этого он безмерно радовался моему присутствию, кофе и трубке, при выкуривании которой он, однако, не составлял мне компании. Он часто говорил об этом за столом, записал это событие в свою книжицу, которую я распорядился сделать для него вместо записочек. Поскольку этот нововведенный, не вполне полезный для пищеварения десерт часто удлинял трапезу и требовал от меня слишком много времени, я старался, насколько это было возможно, его избегать. Часто Кант был настолько погружен за столом в беседу, что забывал, что я, его *ex officio*¹⁰ курящий гость, сидел за столом. Тогда этот вопрос сам собой отпадал, что было для меня к лучшему, поскольку я боялся, что кофе, этот непривычный для него напиток, может стать причиной беспокойной ночи. Но если попытка сделать так, чтобы он забыл о кофе, не удавалась, дело принимало дурной оборот, особенно если время было уже позднее. Нетерпение свое он выражал все же мягко, порой весьма наивно, так что это вызывало смех. Кофе должен был быть доставлен *тотчас же* (характерное для него выражение). Все предварительные меры для приготовления оногo в дни, когда я у него трапезничал, были заранее предприняты. Для завершения столь важного для него процесса оставалось приложить лишь последние усилия.

¹⁰ Лат.: по обязанности.




Стрелой мчался слуга, чтоб засыпать кофе в уже кипящую воду, дать ему вскипеть и принести к столу, но и это короткое, необходимое для приготовления время казалось ему безмерно долгим. На каждое успокаивающее уверение он отвечал по-разному, изменение формулировок его не смущало. Если говорили: «Кофе скоро будет подан», — он отвечал: «Да, *будет*, в этом и загвоздка, что он только будет подан». Если звучало: «Скоро будет готов!», — он добавлял: «Да, *скоро*, час это тоже скоро, и столько времени уже прошло с тех пор, как прозвучало предыдущее *скоро*». Наконец, он говорил со стоической выдержкой: «Я скорее умру, чем дождусь его, а на том свете я уж вряд ли захочу пить кофе». Он даже вставал из-за стола и кричал по направлению к дверям, и притом довольно разборчиво: «Кофе! Кофе!» Когда же он, наконец, слышал, как слуга поднимается по лестнице, то, ликуя, восклицал: «Вижу землю!», — как матрос с мачты. Остывание кофе занимало, по его мнению, слишком много времени, даже когда его несколько раз переливали из чашки в чашку. Когда же он был наконец полностью готов к употреблению, раздавалось: «Да здравствует кураж, господа!» При этом от радости он раскатисто выговаривал «р», особенно в слове «кураж», а после того, как все насладились кофе, говорил: «И на этом баста!», — каковое выражение сопровождал тем, что с силой опускал чашку, что придавало ему особый ритм.

Чтобы избежать проявления его нетерпения, я держал в запасе вещи, которые могли ему понадобиться и которые быстро не портились, или я распорядился принести их из своего дома. Эти меры предосторожности весьма облегчали ему его вообще-то безрадостные дни, он даже начинал думать, что не может обойтись




без моей помощи. Поэтому я устроил всё так, чтобы по полчаса навещать его каждый день.

Из всего вышесказанного можно было предположить, что заметные идиосинкразии Канта при нарастании слабости легко могли превратиться в своего рода упрямство, которое при близком общении с ним могло привести к некоторым неприятностям. Так что я определил основные положения, которые хотел проверить наблюдением, для того чтобы мне было легче с ним общаться. При всем моем уважении к этому великому человеку я никогда не позволял себе никакого подхалимства, свободно высказывал собственное мнение, но без малейшей дерзости, и твердо настаивал на том, что решительно считал полезным и благим для него. Такое поведение, без сомнения, помогало мне все более заслужить его доверие. Кант, будучи благородным человеком, ничто не презирал сильнее, чем мелкое угодничество. На склоне лет о нем поползли некоторые слухи, основанные на заблуждениях, беспочвенные подозрения его в брюзгливых высказываниях о слугах. В большинстве случаев, когда он совершал какую-либо ошибку, он просто умолкал. Когда он спрашивал меня, в чем он был неправ, я прямо говорил ему, что по тем или иным причинам, которые я приводил в соответствии со значимостью дела, не могу разделять его мнения. Иное поведение, лесть или предвзятость были бы наверняка верным средством потерять его доверие и уважение, поскольку каждый благородный человек скорее примет мягкое и обоснованное возражение, чем трусливое угодничество, и после взвешенного рассуждения и более спокойной оценки наказывает презрением тех, кто соглашается со скоропалительными суждениями и неподобающими желаниями.




В прежние годы Кант, правда, не привык, чтобы ему возражали. Его пронизательный ум, всегда выручавшее его остроумие, при некоторых обстоятельствах становившееся язвительным, его широчайшая ученость, благодаря которой он мог поддерживать любой разговор и не давал навязать себе чужое мнение или ложное суждение, его повсеместно известный благородный образ мыслей, строгий моральный образ жизни создавали ему такое превосходство перед всеми остальными, что он мог не опасаться внезапных возражений. Если же кто-то осмеливался противоречить ему в обществе слишком громко или с претензией на остроумие, то он умел придать разговору настолько неожиданной оборот, что общее мнение было на его стороне, и даже самый смелый остряк смущался и замолкал. Поэтому было неслыханным событием то, что он спокойно, хоть и с серьезным сомнением, но без раздражения, выслушивал приводимые мной доводы. Так любезен был этот великий человек, даже будучи слабым стариком. Часто без малейшего протеста, без возражений он отказывался от своего самого горячего желания, если я убеждал его в том, что это вредно для его здоровья, и даже от своих самых давних привычек, если я указывал ему на то, что его нынешнее состояние требует их изменения. Когда же он привыкал к новому, лучшему порядку вещей и понимал преимущества моих предложений, то весьма трогательно благодарил меня за мое упорство. Я тщательно избегал прямо возражать ему, ожидал подходящего момента, более спокойного настроения, но неустанно повторял свои предложения, если некоторые из них вызывали в нем сомнения, пока он их наконец не принимал. Поэтому он никогда прямо не отклонял ни одного из них. Его



просьбы об отсрочке исполнения какого-либо предложения были часто трогательны, особенно если надо было менять белье. Поэтому я заранее начинал заводить об этом речь, чтобы некоторая задержка не смогла помешать гигиене. Как бы ни был Кант привержен последней, он иногда протестовал против применения правил гигиены под предлогом того, что никогда не потеет.


С каждым днем моя привязанность к нему возрастала. Какое восприимчивое сердце не ощутит честь призвания быть опорой достойному старцу, столь мужественно и стойко несущему бремя своего возраста? Кто не захотел бы добровольно облегчить ему это? Преимуществом моего положения было то, что я мог говорить с ним уже в 5 часов утра. Если мои дела не позволяли прийти в обычное время, между 9 и 10 часами, я избирал ранние утренние часы для визита к нему. Каждый день приносил мне пользу, ведь ежедневно я открывал для себя новую милую сторону его доброго сердца, ежедневно получал новые подтверждения его доверия. Как бы различны ни были ситуации и обстоятельства, в которых я имел возможность за ним наблюдать, я замечал всегда великие добродетели, наряду с лишь незначительными недостатками.

Величие Канта как ученого и мыслителя миру известно, я не могу оценить его, но деликатные черты его скромной доброты никто, кроме меня, не имел возможности наблюдать. Он умел делать невидимым глазу людей то, что могло бы вызвать похвалу. Не каждому дано с готовностью принять благожелательные предложения другого, стоящего гораздо ниже его, и твердо им следовать, а этот человек делал именно так. Ведь при его великом уме, — который, правда, уже тлел, как огонь под пеплом, но иногда прорывался яркими, самого себя ослепляющими языками пламени, — в эти свет-




лые моменты он не становился нетерпимым, а, наоборот, использовал их для того, чтобы поблагодарить своего друга за его распоряжения и вновь уверить его в своем всё увеличивающемся доверии. Как отличался здесь Кант от ряда обычных людей, которые часто просят совета, но не следуют ему! Он действовал последовательно и из двух альтернатив — действовать самостоятельно и твердо на свой страх и риск, либо, в случае если это было нецелесообразно, обязательно следовать совету того, кого он однажды одарил доверием, — он выбирал вторую. Он никогда не нарушал мои планы каким-нибудь вмешательством и никогда не делал тайны из того, что полностью доверялся мне. Это поведение, так же как и признание моих заслуг, часто вгоняло меня в краску, и так как Кант в таких случаях не щадил моих чувств, я понимал, как мучительна слишком большая доброта. Что до сих пор было лишь необходимым общением, становилось, я должен честно в этом признаться, чем-то большим: дружеским благоволением, сердечные и почти нежные проявления которого описать словами не позволяет скромность, но которые запечатлелись в моем сердце тем сильнее, чем очевиднее было то, что этот искренний человек не мог сказать того, чего бы он на самом деле не чувствовал.

Кант перенял блестящий парадокс Аристотеля: «Мои дорогие друзья, друзей не существует». Кажется, он вкладывал в слово *друг* не обычный смысл, а примерно то же значение, которое имеет слово *слуга* в концовке письма или в обычном прощании: ваш покорный слуга. Здесь я не мог с ним согласиться. У меня был друг в полном смысле этого слова, и, ценя его, я не мог разделить мнение Канта. До сих пор Кант был самодостаточен и, поскольку страдания были ему ведомы лишь на бумаге, не нуждался в друге. Теперь же, вслед-




ствие своей немощи, будучи пригвожден к земле, он озирался в поисках опоры, без которой не мог больше держаться прямо. Поэтому, когда я однажды, в то время как он особенно настойчиво уверял меня в своем дружеском отношении, выразил свое недоверие, сославшись на упомянутый парадокс, он был достаточно искренен, чтобы признаться, что теперь он единого со мной мнения и не считает более дружбу пустой химерой.

Со всей свойственной ему деликатностью, тщательно избегая любой навязчивости, он все еще не спешил доверять мне все свои дела, в то время как я, в свою очередь, также никогда не делал для него больше, чем он просил или открыто и добровольно мне поручил, а именно предлагать, даже без его указания, как увеличить его состояние. В ноябре 1801 года он ознакомил меня со своим желанием передать мне в управление свое состояние и всё, что прямо или косвенно его касается, и, как говорится, уйти на покой. Он говорил мне об этом снова и снова, сначала просил меня об одолжении пересчитать имеющиеся у него в наличии деньги и рассортировать разные монеты. Вероятно, незадолго перед этим поручением случилось некое не вполне объяснимое событие, касающееся денег, впечатлившее Канта. Для выполнения порученного задания сначала он передал мне ключи, которые имел обыкновение называть своим священным сокровищем, и ушел в другую комнату. Я был смущен этим новым проявлением его доверия, поскольку мне было известно, что в этом шкафу хранились все касающиеся его состояния бумаги, содержание которых он держал в тайне. Вскоре он вернулся из своей комнаты и вручил мне на память отчеканенную в его честь медаль, а также передал мне письменно оформленную дарственную



на нее, чтобы после его смерти слугу не заподозрили в хищении. Кто и по какому случаю вручил ему эту медаль, мне неизвестно. Говорили, что это был подарок еврейской общины за разъяснение сложных мест в Талмуде, о котором он читал лекции, что кажется мне неубедительным. Кант и Талмуд кажутся мне, по меньшей мере, слишком несовместимыми, чтобы их можно было каким-либо образом объединить. Несмотря на высказанные в этой комнате торжественные уверения в своем ко мне доверии, которое он, что доказывают мои успехи, действительно ко мне питал, я не так уж легко брал на себя что-то важное для него, не посоветовавшись с одним из его друзей. Особенно часто я избирал для этого советника В.¹¹ — человека, отличающегося своими широкими познаниями, благородным сердцем и большой скромностью, которого очень ценил Кант и с которым я вместе обедал в один из дней недели в первые годы существования общества сотрапезников Канта. Поскольку я обозначаю его имя лишь инициалами, позволю себе привести собственное суждение Канта о нем, которое он записал в свой дневник, когда ему пошел 80-й год: «Господин В., в том, что касается его настроения и образа мыслей, так же, как и его проныцательности, как гуманист и деловой человек представляет собой редкое явление». Этому мужчине я ознакомил со своими планами по поводу ведения записей, проверки, усовершенствований и разрешений. Таким образом, с одной стороны, я мог защитить себя от возможных упреков других людей и своей совести в по-

¹¹ Иоганн Фридрих Вигилантиус (1757—1823), юрист, правительственный советник, консультировал Канта по всем правовым вопросам, в том числе помог ему составить завещание.




спешных и самовольных действиях, с другой стороны, извлечь настоящую выгоду для Канта из совместной ин-спекции, прибегнув к опыту этого уважаемого человека. Кант принял мои предложения с еще большим доверием, узнав о содействии мне со стороны советника В.

После того как Кант однажды поручил мне свои дела, он отстранился от всех вопросов, касавшихся платежей, не делал ничего без моего совета, и уж тем более не ставя меня в известность. Нижние чины никогда не должны быть обойдены, и суждение низшей инстанции всегда получало подтверждение высшей.

Первое время после того, как он передал мне управление, я использовал для того, чтобы ознакомиться с его делами и бумагами. Из последних не сохранилось ничего, кроме того, что имело отношение к его финансовому состоянию. Он посвятил меня в его размеры и добавил: хотя он и нажил все честным трудом, величина его никому не известна, кроме того, кто взял его на хранение под проценты. Он хотел бы, чтобы суммы были известны только мне и чтобы я хранил их в тайне. Позднее он позволил мне ввести в курс дела и советника В., поскольку выяснившиеся обстоятельства, о которых мне нужно было с ним посоветоваться, требовали этого. Остальные его бумаги, научные труды были переданы на хранение двум ученым, живущим ныне не в Кёнигсберге¹². От научной корреспонденции не сохра-

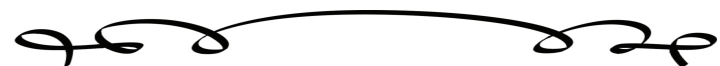
¹² Имеются в виду профессор философии Готлоб Бенъямин Еше (1762—1842), издатель «Логики Иммануила Канта» (Кёнигсберг, 1800.), и профессор теологии Фридрих Теодор Ринк (1770—1821), издатель сочинений «Физическая география Иммануила Канта» (Кёнигсберг, 1802) и «Иммануил Кант о педагогике» (Кёнигсберг, 1803). В 1804 г. Ринк был обер-пастором в Данциге (сегодня — Гданьск), а Еше — профессором философии в Дерпте (сегодня — Тарту).



нилось ни строчки. О его еще не законченной рукописи будет упомянуто позже.

Я просил его осведомить меня о некоторых вещах, о которых я должен был знать, и предоставить сведения о семье, что он и сделал весьма подробно и без стеснения.

Сначала по некоторым причинам я счел необходимым переложить деньги на хранение в другой шкаф, в опечатанных и подписанных мешочках. В оправдание этих мер я позволю себе здесь отступление от повествования. Согласно завещанию, состояние Канта в 1798 году оценивалось в 42 930 гульденов, или 14 310 талеров, не считая его дома и недвижимости. После этого прибыль от его сочинений и лекций была незначительной, поскольку он уже не писал и не выступал публично. Капитал в 10 000 талеров, который был одолжен под 6 процентов, был ему возвращен и теперь был одолжен лишь под 5 процентов, вследствие чего в год он получал на 100 талеров меньше. На содержание своих родственников он ежегодно давал 200 талеров. Когда он стал немощным, его расходы увеличились. Лампе получал 40 талеров ежегодно и после увольнения. Тем не менее после его смерти оставалось еще 17 000 талеров наличными. Пересчитанные суммы и вложенная в них записка, в которой был указан их размер, лежали в бюро, в котором раньше хранились все наличные деньги на текущие расходы. Я пересчитывал их как минимум дважды в неделю и сравнивал количество денег с возможными расходами, которые Кант осуществлял теперь самостоятельно лишь в крайнем случае. Думаю, что не ошибусь, утверждая, что благодаря этим мерам удалось кое-что сэкономить. Ключи от обоих хранилищ денег были у самого Канта. Я брал их лишь при выплатах и, после того как списывал уплаченную сумму, снова вручал ему. Когда однажды нужно было выплатить в мое




отсутствие некоторую сумму, превосходившую количество наличных денег в его бюро, Кант был непреклонен, и, несмотря на все старания его слуги, не позволял взять отсутствующую сумму из большого хранилища, хотя у него был ключ, и отложил выплату до того, пока я не пришел, чтобы не нарушать моих мер предосторожности. Это обстоятельство, характеризующее его как мужа с твердыми принципами и утонченным образом мыслей, успокоило меня насчет будущего и укрепило меня в предположении, что и в случае, если немощь его усилится, я смогу не бояться незаслуженного унижающего предположения или оскорбления. Напротив, другие обстоятельства показали, как точно и проникательно он умел ценить каждую услугу, сопряженную с небольшим самопожертвованием.


Во время моих ежедневных визитов к нему меня естественно частенько настигала плохая погода. Но он признавал, что я никогда на нее не жаловался; напротив, замечал, что если я приходил к нему вымокший под дождем или замерзший от холода, то старался избавиться от следов непогоды или скрыть их, перед тем как войти в его комнату. Он великодушно предлагал мне каждый раз карету за свой счет, чтобы я не зависел от непогоды. Хотя я никогда не соглашался на его предложение, не могу обойти это молчанием, а привожу в доказательство его деликатности и понимания.

Именно эта его благородная благодарность побуждает меня повременить с рассказом о его домашних делах, прервать нить повествования о них, позволяет мне сделать небольшое отступление и набросать несколько штрихов из жизни Канта более ранних лет. До самого почтенного возраста благодетения, оказанные ему, оставались в его благородном сердце, а память о его благодетелях была для него свята. Он всегда делал






то, что нужно, и поэтому раскаяние о невыполненном долге было ему чуждо. Но одно исключение, свидетельствующее скорее об его чести, чем об его ошибках, все же имело место. Он весьма сожалел, что отложил до времени, когда стал не в силах выполнить эту задачу, создание, как он выражался, письменного памятника в честь заслуженного доктора теологии, пастора в Альтштадте и директора Фридериканской коллегии Франца Альберта Шульца. Этот большой знаток людей открыл в Канте великие и редкие способности и привел к успеху не замеченного гения, который без его участия, возможно, зачах бы. Ему Кант был обязан тем, чем он стал, а ученый мир — тем, что он получил, благодаря такому образованию. Шульц уговорил родителей Канта отправить своего сына учиться и поддерживал его таким способом, который не задевал чувства достоинства родителей Канта, не принимавших помощи напрямую. Он снабжал родителей Канта дровами, которые им внезапно и бесплатно привозили. Заслуживает здесь упоминания сказанное мне самим Кантом о финансовом состоянии своих родителей, о котором говорили много разного. Его родители были небогаты, но и не настолько бедны, чтобы испытывать лишения, тем более не сгибались они под тяжестью нужды и забот о пропитании. Они зарабатывали столько, что им хватало на домашнее хозяйство и на воспитание детей. Тем не менее Кант вспоминал об этом участии, которое было в то время не таким уж значительным, и о мягкой деликатности, с которой Шульц помогал его родителям и ему самому, когда он был в академии; трогательно хвалил его благородный характер, который он узнал еще пребывая в родительском доме, куда Шульц часто заходил, и был благодарен ему за совет, который тот дал его родите-




лям: обратить внимание на таланты сына и содействовать его образованию.

С самыми теплыми чувствами искреннего почтения и детской нежности вспоминал Кант о своей матери. Я передаю эту историю в том виде, в котором получил ее из двух источников: отчасти из бесед с Кантом в часы его откровенных разговоров о семейных делах, исключая обстоятельства, упоминать которые не позволяла его скромность, отчасти из того, что смогла добавить его ныне живущая сестра, которой рассказывать о моментах, похвальных для Канта, пристало более, чем ему. Как считал Кант, его мать была женщиной большого природного ума, который и достался ему по наследству, благородного сердца и истинной, совсем не надуманной религиозности. С искренней признательностью Кант был благодарен ей за начальное формирование его характера и первооснов того, чем он стал в последующем. Она и о своих способностях не забывала и обладала своего рода образованием, которого достигла путем самообучения. Как я мог заключить по немногим бумагам из семейной переписки, принадлежащим ее перу, писала она, соблюдая правила орфографии. Для ее сословия и для того времени это было уже много, это было редкостью. После того, как Шульц указал ей на большие способности ее сына, она и сама открыла их в нем, и они, конечно, занимали ее материнское сердце и побуждали уделять его образованию столь большое и тщательное внимание, какое только было возможно. Поскольку сама она была честной женщиной, а муж ее честным мужчиной, оба были друзьями истины; поскольку уста ее никогда не лгали, никакие недопонимания не нарушали домашнего единства; поскольку в присутствии детей не звучали никакие вза-




имные упреки, которые могли бы ослабить их уважение к заботливым родителям, то этот пример весьма положительно повлиял на характер Канта. Ошибки воспитания не осложняли ему дело дальнейшего становления, которое часто не в состоянии полностью скрыть их так, чтобы они сквозь него не проступали. Его мать рано осознала свой долг: она умела в процессе воспитания соединять приятное с полезным, часто ходила со своим Манельхеном (так материнская нежность смягчала имя Иммануил, соответствовавшее в календаре дате его рождения, 22 апреля) на природу, обращала его внимание на объекты природы и некоторые её явления, обучала его знанию каких-либо полезных трав, даже рассказала ему об устройстве неба столько, сколько знала сама, и удивлялась его тонкому чутью и собранности. Некоторые вопросы сына, вероятно, часто ставили ее в тупик. Но кто не пожелает себе испытать подобное смущение? Как только Кант пошел в школу, — еще в большей степени, когда он учился в академии, — эти продолжающиеся прогулки приобрели несколько иную форму. То, что было для нее непонятно, сын мог ей объяснить. Это открыло для счастливой матери двойной источник радости: она получала новое, недоступное ей ранее знание, к которому так стремилась, она получала его от своего сына, что свидетельствовало о его быстром прогрессе и немало укрепляло виды на будущее. Вероятно, при всей материнской пристрастной любви, часто легко преувеличивающей те ожидания, которые внушают дети, они все же не были так велики, и Кант их потом превзошел, но время их осуществления она уже не застала. Кант скорбел о ее смерти с полной любви, нежной печалью хорошего и благодарного сына. И в последний год своей



жизни, рассказывая о способствовавших ему в жизни условиях, он каждый раз до глубины души был тронут ранней ее потерей. Ее смерть ускорило одно странное обстоятельство. У матери Канта была подруга, к которой она относилась с нежной любовью. Та была помолвлена с мужчиной, которому она отдала всё свое сердце, оставаясь невинной и добродетельной. Несмотря на данное обещание на ней жениться, он нарушил верность и предложил руку и сердце другой. Из-за горя и боли обманутая заболела смертельной горячкой, но отказывалась принимать предписанные ей медикаменты. Ее подруга, ухаживающая за ней у ее смертного одра, протянула ей наполненную ложку. Больная отказалась принять лекарство и утверждала, что у него отвратительный вкус. Мать Канта, желая убедить ее в обратном, не нашла ничего лучшего, как принять то самое лекарство, которое уже попробовала больная, с ее ложки. Отвращение и холодный озноб охватили ее в то самое мгновение, как она это сделала. Воображение умножило и усилило их, а так как к этому прибавилось и то обстоятельство, что она увидела на теле своей подруги пятна, в которых признала петехии, то она и объявила сразу: пришла ее смерть, — легла в тот же самый день в постель и умерла вскоре после этого, принеся себя в жертву дружбе.

Насколько признателен был Кант за благодеяния своим теперь уже покойным друзьям, настолько доброжелателен он был в оценке других людей. Он ни о ком не говорил дурно. Разговоров, касающихся тяжких человеческих грехов, старался избегать, словно упоминание дурных поступков могло оскорбить разговорчивых собеседников и навредить их благополучию. Менее караемые провинности и нарушения обязанностей




казались ему как минимум недостойным предметом разговора, который он вскоре менял на более достойный. Он чтит заслуги каждого и старался помочь с работой почтенным людям так, что они и не догадывались об этом. В нем не было и следа соперничества, не говоря уж о зависти. Он старался помочь новичку и способствовал его успеху. С большим уважением говорил о своих коллегах. Он участливо справлялся о состоянии здоровья проповедника и профессора Ш.¹³ у друга, обедавшего у него каждую неделю¹⁴. Другого своего соратника, в прошлом достойного слушателя¹⁵, который способствовал распространению необходимых знаний не столько своими трудами, сколько неустанными лекциями и проявленной в них ученостью в самых различных предметах, Кант характеризовал как большого знатока людей. А именно он уверял, что в своих многолетних наблюдениях за человеческой натурой ему не встречался более проницательный ум, более великий гений. Он утверждал, что тот склонен к любой, даже самой фундаментальной, науке и может усвоить всё, что способен вместить в себя человеческий разум, при этом с такой скоростью, с которой не каждый смог бы проникнуть в глубины науки. Он

¹³ Придворный проповедник и профессор математики Иоганн Шульц (1739—1805), друг Канта, защитник его философии. В 1789 г. в издательстве Гартунга в Кёнигсберге вышла его книга «Разъясняющее изложение ”Критики чистого разума”».


¹⁴ Иоганн Фридрих Гензихен (1759—1807), профессор математики в Альбертине, которому Кант завещал свои книги.

¹⁵ Кристиан Якоб Краус (1753—1807), с 1782 г. профессор практической философии и камералистики в Альбертине. Пропагандировал в Германии идеи Адама Смита и заложил основы прусских реформ.




сравнивал его с Кеплером, о котором утверждал, что тот, насколько может судить, был самым проницательным из всех когда-либо живших мыслителей. Многих своих коллег он приглашал к своему столу и умел отдать должное заслугам каждого. Это его всеобщее благоволение по отношению к людям делало для него невозможным презрительно думать или говорить о каком-либо сословии, его презрение касалось недостойных членов любого сословия, но оно редко становилось предметом публичного высказывания.

После этого отступления я снова возвращаюсь к прерванной нити повествования о домашней жизни Канта. Кант показывал мне ранние наброски своего завещания, которое он отдал на хранение. В них то один то другой его сотрапезник был назван душеприказчиком, потом снова вычеркнут, и в результате там осталось только мое имя. При этом он объяснял, что не может вспомнить, назначал ли он уже кого-либо душеприказчиком, а тем более, кого именно, и требовал от меня, чтобы я выполнил это дело после его смерти. Я взял это на себя с условием, что если его последней волей уже был назначен душеприказчик, которому за его труды что-то полагалось, то он не должен после его смерти потерять то, что ему причиталось. Кант счел это предложение справедливым и передал в 1801 году представителям академического сената дополнение к своему завещанию, в котором он, посоветовавшись предварительно со своими друзьями-юристами, назначал меня, со всеми возможными по законам земли правами, своим душеприказчиком. За день до этого его охватил страх, не забыл ли он чего-либо, что ущемило бы меня при передаче прав, потребовал при этом акте моего присутствия, к которому он уже привык во всех своих




предприятиях, но когда я обрисовал ему невозможность такого хода дела, понял и согласился на то, чтобы при передаче присутствовал другой его сотрапезник. Когда я после проведенного акта передачи обедал с ним, он осушил бокал вина, произнеся тост: «За то, что сегодня все так хорошо прошло!» И добавил, шутя и улыбаясь: «И без спектакля». Он много и радостно говорил о совершенном сегодня деле, но так витиевато, что второй сотрапезник не понимал, о чем идет речь. Этот метафорический способ изъясняться в присутствии других людей Канту вообще-то не был свойственен, лишь сегодня он позволил себе сделать исключение. Я не давал формальных обязательств делать для него что-либо. Кант был слишком деликатен, чтобы требовать от меня этого, а я слишком осторожен, чтобы определенно обещать ему что-то, поскольку могли возникнуть непредвиденные препятствия. Не сговариваясь, мы были согласны друг с другом, и каждый из нас знал, чего ему ожидать от другого. Если бы немощь Канта приняла такой оборот, что свободный человек просто не смог бы выдержать его обращения и всплесков дурного настроения, то меня не сдерживало бы обещание, и я смог бы удалиться на соответствующую дистанцию. Честно признаю свои сомнения, я не мог тогда исключить, зная его слабости, что он своей властью может уничтожить мои добрые намерения; например, в том, что касается его слуги, он мог бы поддаться слабости и уступчивости, занять его сторону, разделяя его непозволительные и убыточные предложения, и тем самым скомпрометировать меня. Но сознаюсь, что в этих подозрениях я был неправ, слишком слаб, чтобы понять всё его истинное величие. Ведь если иногда он вследствие плохого зрения путал меня




со своим слугой и разговаривал со мной в том тоне, в котором обычно обращался к нему, то каждый раз, когда он осознавал свою ошибку, смущался от неловкости, из чего явственно следовало, что он охотно укрепил бы меня во мнении, что обращался в разговоре не ко мне, а действительно к своему слуге. Поэтому я избегал, насколько возможно, указывать ему на такую путаницу. Но если эта попытка не удавалась, его извинения по поводу сказанного были для меня удручающими и мучительными.

К домашнему окружению Канта относился также его слуга Мартин Лампе. Он был родом из Вюрцбурга, служил солдатом в прусской армии, а после отставки из полка поступил на службу к Канту, которую исполнял в течение сорока лет. Вначале, поскольку он служил исправно, Кант был о нем высокого мнения и оказывал ему благодарности. Но именно это либеральное отношение Канта стало причиной того, почему Лампе предался дурной привычке, к которой его подтолкнул и хороший заработок. Он злоупотреблял добротой своего господина неблагородным способом, требовал у него прибавки, приходил домой не вовремя, ругался с приходящей прислугой и вообще становился с каждым днем все более непригоден для прислуживания своему господину. Такое его поведение неизбежно привело к тому, что отношение Канта к нему изменилось. Он принял решение расстаться с ним, и оно с каждым днем все более крепло и близилось к исполнению. У меня были причины подозревать, что оглашение этого решения было не пустой угрозой или попыткой повлиять на то, чтобы Лампе исправился, но серьезным намерением Канта, поэтому я искал основания, чтобы смягчить и



отсрочить его исполнение, в особенности посколькy предвидел, что расставание неизбежно, но будет связано с трудностями и для Канта, и для меня, и для Лампе, и для нового слуги. Нужно было уволить поседевшего вместе с Кантом, но ставшего недостойным слугу. Оба привыкли друг к другу, я должен был стать посредником между ними. Кант мог бы раскаяться в предпринятом шаге и снова взять его к себе в дом. Как далеко зашла бы жестокость Лампе по отношению к Канту и ко мне, если бы он получил столь очевидное доказательство своей незаменимости? А где можно было в такие краткие сроки найти верного, привыкшего к уединению слугу, который смог бы приспособиться к устоявшимся привычкам Канта? Так что я часто старался, пока что без вреда, отводить этот угрожающий молниеносный удар, хотя, зная характер Канта, мог с уверенностью предположить, что если он всерьез решит уволить Лампе, ничто не сможет помешать его намерению, что со временем успешно подтвердилось.


Мягчайшее сердце сочеталось у Канта самым тесным образом с наитвердейшим характером. Если он однажды давал слово, то оно значило, благодаря его нерушимой твердости, больше, чем клятвенные обещания других. И эта надежность часто облегчала мне возможность придавать иное, полезное для него направление тем его желаниям, исполнение которых могло бы повлечь за собой простуду, расстройство пищеварения или другие неприятности. Было достаточно одного его слова в поддержку моего предложения, вносимого по обоснованным причинам, — особенно когда дело касалось его организма, который уже не мог в поздние годы вынести того, что было возможно для него ранее, — и самое страстное желание его было преодолено. Он дал



мне обещание следовать моим советам относительно полезности вещей, и он держал слово.


Некоторые из его сотрапезников утверждали, что они ни за что на свете не хотели бы взять на себя то бремя, которое налагали на меня отношения с Кантом, и жалели меня; но я сам себя никогда не жалел и уверяю, что то участие, которое я принимал в делах Канта, не могу назвать обузой. Поскольку он был слаб и нуждался в помощи, я был ему, конечно, необходим, но я нуждался в нем уж точно еще больше. Он охотно видел меня, я — еще более охотно — его, и я не мог спокойно провести и дня, чтобы не увидеть Канта, не порадоваться ему, особенно в последние годы его жизни. Во время визитов, даже когда его состояние меня тревожило, я никогда не прибегал к малодушному тону, которого не мог терпеть человек, стойко противостоявший тяготам надвигающейся старости. Он не был настолько изнеженным, чтобы его нужно было жалеть. Оживленной и доверительной была моя речь, с которой я обращался к нему. Ему и не нужно было докучливого утешения. Моего восклицания «Non, si male nunc, sic erit et olim¹⁶» было ему достаточно. Такая непринужденная дружеская поддержка ободряла его иногда настолько, что он называл меня своим утешением, такое имя мне давала его слабость. Трогательным было для меня видеть в последнее время, когда он стал настолько дряхлым, что не мог читать и писать, как он сидит в двери с часами в руке, ожидая минуты моего прибытия. Он особенно остро ощущал потребность в общении после долгого одиночества. Могло ли быть обузой для меня то, что я посещал его каждый день, без исключений?

¹⁶ Лат.: «Если плохо сейчас — не всегда же так будет» (Гораций, Оды, II, 10, 17).




После стольких лет знакомства, общения (я могу, не отступая от правды, использовать это выражение) и доверительного отношения, поскольку у него давно не было от меня секретов, мы — иначе и быть не могло — знали друг друга довольно хорошо. И если человек с таким непоколебимо твердым характером, основанным на проверенных принципах, в полном осознании того, что он говорит, степенно, серьезно, решительно и доверительно высказывался по отношению ко мне следующим образом: «Дражайший друг, если Вы считаете нечто для меня благоприятным, а я нет; если я считаю что-то непригодным и приносящим мне ущерб, но Вы мне это посоветуете, — то я одобрю и приму это»; и если этот человек действительно так поступал; если кроме того в некоторых делах, требовавших участия других лиц, каждый, кто был задействован, радовался тому, что он прилагает усилия ради Канта; если его поручения были такого свойства, что ни один честный человек ни на миг не сомневался, что не нуждается в том, чтобы спрашивать свою совесть, исполнять ли их; если можно было не опасаться противодействия, а напротив, можно было во всем ожидать поддержки и участия, — то становится понятно, что взять на себя дела Канта не было такой обузой, как это могло показаться с первого взгляда. Кант был и оставался решительным мужем, чьи ноги слабели, но дух — никогда.

Поэтому такой смелый шаг, как расставание со своим старым слугой, мог быть предпринят и успешно осуществлен только им самим. Еще до того, как эта разлука действительно наступила, я признавал невозможным для Канта, часто падавшего из-за слабости в ногах, поручить свое попечение одному лишь слуге, который нередко был не в состоянии самостоятельно стоять и, по весьма отличающимся причинам, разделял




судьбу своего господина. Кроме того, поскольку Кант удовлетворял его требования касательно денег, в надежде купить себе мир и покой, это лишь усугубляло наклонности Лампе, и он опускался все ниже. К этому добавлялось и то, что вследствие запрета требовать денег у кого-либо другого, кроме меня, и благодаря тому, с какой серьезностью я указывал ему на каждый перерасход, он потерял надежду вновь обрести такой удобный для него прежний статус-кво. После этого он понял, что вынужден ограничиваться почти одним своим жалованием, и сам считал службу у Канта, по сравнению с прежними золотыми деньками, уже не столь выгодной. Другая мера, о которой я говорил ранее, вероятно, также повлияла на то, что он отчаялся увидеть лучшие времена. Но даже если предположить, что все эти неприятности не имели бы места, все же то обстоятельство, что силы слуги Канта заметно уменьшились, с необходимостью заставило бы задуматься о том, чтобы его место занял крепкий и сильный мужчина. Я предусмотрительно подготовил необходимые меры и находился во всеоружии перед предстоящим разрывом; искал, нашел и выбрал слугу и держал его во временном услужении, от которого он мог быть в любой момент освобожден. Я часто говорил с Лампе то мягким, то серьезным тоном о том, что решение господина уволить его все ближе к исполнению, указывал ему на его печальный жребий в будущем, делал ему весьма внятные намеки на то, что в случае хорошего поведения не только он, но и его жена и дети смогут быть счастливы, объединил усилия с его супругой, со слезами просившей его подумать о собственном благе. Он обещал исправиться, но вел себя еще хуже. Наконец, в январе 1802 года настал день, когда Кант сделал тяготившее его признание: «Лампе так со мной обо-




шелся, что мне стыдно об этом говорить». Я не стал его выспрашивать и не знаю, в чем состояла эта, наверно, грубая провинность. Кант настоял на его увольнении, хотя и без гнева, но с мужественной серьезностью. Его просьбы, высказанные мне, были так настойчивы, что я счел необходимым встать из-за стола раньше других гостей и позвать находившегося в ожидании слугу Иоганна Кауфмана. Лампе не понимал, что происходит. Кауфман пришел. Кант смотрит на него, сразу постигает его характер и говорит: «Он кажется мне спокойным, честным и разумным человеком. Если он согласен полностью подчиняться указаниям моего друга, я ничего не имею против него, и он должен в точности исполнять то, что тот ему скажет, то, о чем он с ним условится, я также одобряю, и этому он и должен следовать». Итак, Кант при первом же разговоре позаботился о том, чтобы внушить ему уважение ко мне. На следующий день Лампе был уволен, получив ежегодную пенсию с предписанным судом условием: выплата последней тотчас же прекратится, если Лампе или его представитель станут беспокоить Канта.

Слуга Иоганн Кауфман был словно создан для Канта и скоро почувствовал истинную любовь и личную привязанность к своему господину. После его появления в доме Канта сложившаяся ситуация изменилась в лучшую сторону, поскольку он был совсем другим человеком. Слаженность в отношениях с приходящей прислугой Канта, находившейся в постоянных ссорах с Лампе, но сумевшей обходиться подобающим образом с Кауфманом, привела к тому, что в доме философа воцарился мир, до сих пор нарушавшийся слишком шумными сценами, о которых Кант, возможно, и не знал. Теперь он мог проживать свои дни без раздражения из-за некоторых досадных происшествий, неиз-



бежного и для философа. Как бы великодушно он ни прощал Лампе, он все же счел необходимым изменить свое распоряжение, до того почти чрезмерно благотворительное, и утвердить ему пенсию лишь в размере 40 рейхсталеров до конца его дней. Во втором, отложенном в связи с этим, дополнении к своему завещанию он проявил благородство и великодушные способом, обращающим на себя внимание. Он изменил предложенное ему начало такового, которое звучало: «Плохое поведение Л. вынудило... и т. п.», на выражение «Обоснованные причины вынудили и т. п.», сказав при этом: «Так можно смягчить выражение». Спустя двадцать шесть дней после увольнения Лампе это дополнение было внесено, и в нем не осталось и следа от справедливого недовольства. Лампе попросил рекомендацию, я подготовил ее для Канта. Долго он обдумывал, что написать в том месте, где речь должна идти о поведении его слуги. Я воздержался от какого-либо совета, что он, кажется, одобрил. Наконец, он написал: «Он был верен, но вел себя не приемлемым более для меня (Канта) образом».

Чем дольше продолжалось знакомство с Кантом, тем больше можно было узнать о неизвестных доселе положительных его качествах, и тем более достойным почитания он представлялся. Это проявлялось и в его нынешних переменах. Он настолько привык за долгие годы к малейшим деталям своего аккуратного и монотонного образа жизни, что даже ножницы или перочинный нож, положенные не только в двух дюймах от их обычного места, но даже передвинутые в необычном для них направлении, уже вызывали его беспокойство. А уж перестановка крупных вещей в его комнате, таких, как стул, равно как и увеличение или сокращение их количества, совершенно ему мешали, и его




взгляд останавливался так долго на этом месте, пока старый порядок вещей не был полностью восстановлен.

В связи с этим казалось невозможным, чтобы он привык к новому слуге, чей голос, походка и т. п. были для него совершенно чужими. Но и в своей слабости он сохранял достаточно силы духа, чтобы, наконец, привыкнуть к тому, к чему его вынудило прежнее положение вещей, тем более что он сам санкционировал эти перемены своим решением. Лишь к громкому тенору своего слуги, резкому и, как он выражался, трубоподобному, он оставался чувствителен. «Он хороший человек, но, на мой вкус, слишком громко кричит», — это было всё, что он говорил, сочетая кротость и жалобное недовольство. В течение нескольких дней слуга привык разговаривать тише, и все стало хорошо.

Новый слуга хорошо писал и считал и столь многому обучился в школе, что правильно произносил каждое латинское выражение, имена его друзей и названия книг. По поводу этого пункта, правильного называния вещей и произнесения слов, Кант и Лампе никак не могли достигнуть согласия и все время препирались, что часто давало повод комичнейшим сценам, особенно когда Кант произносил вслух старому слуге из Вюрцбурга имена своих друзей и названия книг.

За те тридцать лет, в течение которых Лампе дважды в неделю приносил и уносил «Гартунгскую газету» и каждый раз слушал, как Кант их называл, чтобы не перепутать их с «Гамбургской газетой», он так и не смог запомнить это название, он называл их гартманскими газетами. «Эта вот Гартманская газета!», — мрачно ворчал Кант, морща лоб. После чего он очень громко, выразительно и четко говорил: «Скажи: Гар-




тунгская газета!» И вот бывший солдат стоял, опустив плечи, раздраженный тем, что он должен чему-то учиться у Канта, и говорил грубым голосом, которым ранее спрашивал «кто там?»: «Гартунгская газета», — но в следующий раз снова называл ее неверно.


С новым слугой подобные ученые занятия проходили совсем иным образом. Если Канту приходил на ум стих латинского поэта, тот мог не только достаточно грамотно записать его, но и временами учил его наизусть и даже мог его декламировать, если Кант не сразу его вспоминал, как это было со стихом *Utere prae-senti; coelo committe futura*¹⁷, который я произносил Канту в минуты, когда его одолевали дурное настроение и мысли о том, что будет с ним в конце при его немощи, и который Кант, поскольку он раньше не знал его, часто снова забывал. И его слуга правильно произносил этот стих для него. Я иногда помогал ему, переводя и объясняя. Этот контраст, это явное отличие от Лампе побуждало Канта часто давать такую оценку своему слуге: «Он рассудительный и умный человек».

За день перед тем, как новый слуга приступил к службе, я записал для него целый лист малейших и незначительнейших привычек и обычаев Канта в течение дня, и он усвоил их с легкостью. Он должен был сначала продемонстрировать мне, как справляется с заданиями, и, поупражнявшись на время, приступил к своей службе. Так что свои первые услуги он исполнил столь умело, будто многие годы накрывал стол у Канта. Я присутствовал большую часть первого дня его службы, чтобы намеками, которые он превосходно понимал, руководить всем и избежать малейшего на-

¹⁷ Лат.: Пользуйся настоящим, будущее предоставь небу.



рушения привычек и обычаев Канта. Общаясь с ним долгое время, я был в точности осведомлен о них, только во время его чаепития не присутствовал ни один смертный, кроме Лампе. Для того чтобы сделать необходимые распоряжения, я был там уже в 4 часа утра. Было 1 февраля 1802 года. Кант, как обычно, встал в 5 часов, увидел меня, счел мой визит очень странным. Он еще не вполне отошел ото сна, и я поначалу не смог объяснить ему цель моего присутствия. Тут был ценный совет. Никто не знал, где и как должно проходить чаепитие. Кант был запутан моим присутствием, отсутствием Лампе и наличием нового слуги, не мог сориентироваться, пока, наконец, по-настоящему не проснулся и не пришел в себя. Тогда он сам накрыл себе стол для чая, но не хватало еще чего-то, — чего именно, Кант не мог определить. Я сказал, что хочу выпить с ним чашку чаю и выкурить трубку. Он принял это с присущей ему человечностью, но я видел, что он принуждает себя к этому. Он все еще не мог сориентироваться. Я сидел несколько выше него. Наконец, он подошел и очень вежливо попросил меня сесть так, чтобы ему не было видно меня, поскольку более полувека за чаем вокруг него не было ни единой живой души. Я сделал то, что он желал, Иоганн пошел в соседнюю комнату и пришел лишь тогда, когда Кант позвал его. Теперь все было правильно. Кант привык, как я уже упоминал выше, пить свой чай в одиночестве и при этом абсолютно без помех предаваться своим идеям. Даже если теперь он больше не читал и не писал, побуждающая сила многолетней привычки была в нем еще велика, и он не мог терпеть кого-либо подле себя, не впадая в величайшее беспокойство. Точно так же все происходило, когда я одним прекрасным летним утром повторил подобную попытку.




Теперь мы были посвящены во все тайны Канта, и на следующий день с чаепитием дело обстояло уже лучше. Еще долго Кант вспоминал мой первый визит как сон или волшебство.

Теперь с новым слугой все шло как по маслу. Кант смог свободно вздохнуть, стал жить спокойно и был доволен. Если в услужение вкрадывалась небольшая ошибка, он успокаивал себя тем, что новый слуга еще не смог до конца вникнуть в его мельчайшие привычки.

Странный феномен был свойственен немощи Канта. Обычно люди записывают то, что не хотят забыть, Кант же записал в своей книжце: имя Лампе должно быть полностью забыто.


Кант находил неприемлемым, как уже было отмечено в журнале «Фреймютиге», называть своего слугу Кауфман, поскольку его фамилия означала «купец», а двух образованных купцов он приглашал каждую неделю к своему столу. Поэтому во время одного из веселых обедов, после прочтения весьма комичного стихика, который я не хочу здесь приводить и конец которого звучал «Так пусть зовется Иоганнес», было решено называть слугу в будущем не Кауфман, а Иоганнес.

В это время, а именно зимой 1802 года, каждый раз после еды на правой стороне в низу его живота появлялась припухлость, в несколько дюймов в диаметре, которая, если ее потрогать, была очень твердой и заставляла его каждый раз после еды расстегивать одежду, чтобы она не давила на низ живота. Хотя это не вызывало у него особых жалоб и последствий, все же недомогание длилось около полугода, но без всяких лекарств наступило улучшение, так что он мог после съеденных с аппетитом кушаний не ослаблять больше одежды. Как бы ни было слабо его тело, у него все же



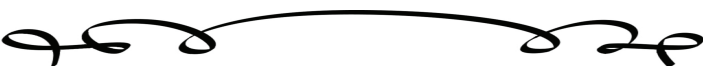
были внутренние ресурсы, чтобы защищаться от болезней и даже побеждать те, которые уже пустили корни.

Весной я посоветовал ему больше двигаться. Уже много лет он не выходил из дома, поскольку слишком уставал на последних своих прогулках. Сердечное спасибо от всего общества хотелось бы сказать тому мужчине, который был столь внимателен к слабому, уставшему старику, что сразу после упоминания о том, что Кант во время своих прогулок на набережной в районе Лицента частично от усталости, частично ради открывающегося вида прислонялся к стене, распорядился поставить для него скамейку, которой Кант с благодарностью пользовался, не зная, кому он обязан ее появлением. Из-за слабости его ног было бы неблагоприятно советовать ему совершать пешие прогулки. Поскольку ряд предпринятых попыток не привели к ожидаемому им результату, предпочтение было отдано передвижению в карете. Кант обычно никогда не посещал свой сад. Но когда он после того, как много лет его не видел, вошел в него весной 1802 года, тот предстал перед ним чем-то настолько новым, что он даже не смог в нем ориентироваться. Сведения, которые я хотел сообщить ему, о расположении сада и его связи с домом, казалось, утомляли его. Он сказал, что даже не знает, где находится, чувствует себя неуверенно, как на заброшенном острове, и хотел бы вернуться туда, где он был раньше. Все эти явления стали следствием его привычки постоянно находиться среди вещей своего кабинета, которые теперь его не окружали, их отсутствие вызывало у него тоску по ним и смущало его. Для объяснения тех престранных явлений, которые возникали от немощи Канта, иногда достаточно было знать одно лишь незначительное обстоятельство, и вся зага-



дочность его поведения быстро исчезала. Поскольку я постоянно общался с ним, мне легко было с ним объясняться. Поэтому мне не казались удивительными даже эти его странные и показавшиеся бы любому другому необычными высказывания в его саду и тому подобные. Хотя он находился на свежем воздухе всего лишь несколько минут, он все же слабел от него. Тем не менее первый шаг к тому, чтобы он снова привык бывать на свежем воздухе, которым Кант так долго не дышал, все же был сделан. Повторение попыток привело к большим успехам. Он уже выпивал в своем саду чашечку кофе, чего до того не делал, и вообще находил уютным свое новое положение. Он прислушивался к советам, которые ему давал кто-то другой. У него самого вряд ли родилась бы мысль отважиться на смену обстановки.


И раньше весна не производила на него особого впечатления, он, в отличие от других, не ждал с нетерпением в конце зимы скорейшего прихода этого радостного времени года. Когда солнце поднималось выше и грело сильнее, когда на деревьях распускались почки и они расцветали, и я обращал на это его внимание, он говорил холодно и равнодушно: «Да ведь так происходит каждый год, точно так же». Только одно событие доставляло ему тем больше радости, что он никак не мог дожидаться его повторения. Вспоминая ранней весной о том, что оно наступит, он задолго до того начинал радоваться, а с приближением этого события становился каждый день все внимательнее, ожидание все возрастало, его же наступление приносило ему большую радость. И эта единственная радость, доставляемая ему природой при всем богатстве ее прелестей, заключалась в возвращении славки, которая пела под его окном в саду. Эта единственная радость оставалась у него даже в безотрадном возрасте. Если его «подру-



га» долго не появлялась, он говорил: «На Апеннинах, должно быть, еще холодно», — и с большой нежностью желал этой своей «подруге», которая должна была посетить его либо собственной персоной, либо в виде потомков, хорошей погоды во время ее долгого путешествия. Он вообще был другом своих соседей из царства птиц. Он обращал внимание на гнездящихся под крышей его дома воробьев, особенно когда они садились на окна его кабинета, что происходило часто, поскольку там стояла тишина. Из их меланхолического, однообразного и часто повторяющегося щебета он делал вывод об упрямой чопорности воробьиных самок, называл этих меланхолических певцов-дилетантов страдальцами и жалобщиками, какие встречаются и среди оленей, и жалел этих одиноких созданий. Я не мог пройти мимо этого обстоятельства, показывающего его доброту даже по отношению к животным, которых пытаются истреблять, ведь и мелкие светлые мазки вносят свою лепту в общий колорит картины, и как много таких мелких штрихов и точек, которые как раз и возвышают целое, можно найти в характере Канта!


Он все больше привыкал к свежему воздуху, от которого успел отвыкнуть, и вот была предпринята героическая попытка выехать из дома. Кант боялся отважиться на это. «Я упаду в карете как тряпка», — говорил он. Я настаивал с мягким упорством на попытке всего лишь проехаться по улице, на которой он жил, уверив его, что мы тотчас же повернем назад, если он не сможет вынести поездки. Лишь поздним летом, при температуре 18 градусов по Реомюру, была предпринята эта попытка. Советник Х.¹⁸, достойный, терпеливый

¹⁸ Советник Иоганн Готфрид Хассе (1759—1806), профессор теологии в Альбертине.




и до конца остававшийся Канту верным другом, сопровождал нас во время этой прогулки к небольшому месту отдыха перед Штайндаммскими воротами, домику который я снял на несколько лет вместе с другим моим другом. Кант сразу помолодел, как только снова, спустя несколько лет, увидел знакомые предметы, вспомнил их и смог назвать башни и общественные здания. Но как же он радовался, что у него хватает сил прямо сидеть и бодро трястись в карете, не испытывая особых недомоганий. Радостные мы достигли цели путешествия. Он выпил чашку кофе, уже для него приготовленную, попробовал выкурить полтрубки табаку, чего он никогда прежде не делал вне установленного им самим для себя времени, с удовольствием слушал разноглосье птиц, часто задерживавшихся в этом месте, различал их пение и называл каждую птицу. Он провел здесь около получаса и, понимая, что хватит уже развлечения, довольно радостный поехал домой.

Я не решался выводить его в многолюдные, часто посещаемые места, чтобы избавить его от внимания любопытствующей публики, которое, вероятно, досаждало бы ему, — чтобы не оказаться в неудобном положении человека, ставшего пристальным объектом наблюдения, что лишило бы его удовольствия. Публика давно не видела его; как только карета останавливалась перед дверью его дома, вокруг собирались даже люди высших сословий, чтобы увидеть Канта, возможно, в первый и последний раз. После нескольких посещений моего сада, располагающегося рядом с моим домом, с наступлением осени наши выезды в том году закончились. Передвижение, правда, утомляли Канта, но он спал спокойнее ночью и на следующий день был веселее, у него появлялись новые силы, и блюда казались ему вкусней и лучше усваивались.



С наступлением зимы он больше, чем обычно, жаловался на недомогание, которое он называл вздутием на устье желудка и которое не мог ни объяснить, ни тем более вылечить ни один врач. Отрыжка действовала на него благоприятно, наслаждение пищей приносило ему короткое облегчение, позволяло забыть свои страдания и несколько развеять дурное настроение. Зима прошла в частых жалобах, и он, устав от жизни, стремился к последней черте и говорил, что не может больше приносить пользы миру и не знает, что ему с собой делать. Его состояние было загадочным: он не чувствовал боли, а по поведению и высказываниям можно было судить о его неприятных телесных ощущениях. Я подбадривал его рассказами о предстоящих выездах летом, он называл их, повышая градацию, сначала поездками, затем путешествиями за город, а затем дальними путешествиями. Он думал с тоской, граничившей с нетерпением, о весне и лете — не из-за их прелестей, а как о временах года, подходящих для выездов, — записал вскоре в своей книжнице: «Июнь, июль и август — три летних месяца» (а именно те, которые лучше всего подходят для путешествий). Воспоминание об этих поездках творило чудеса и возвращало Канту радостное настроение. Его способ желать чего-либо был столь симпатическим, что возникало сожаление о невозможности унять его тоску посредством волшебной силы.


Теперь, утрачивая жизненное тепло, он часто распорядился отапливать свою спальню. Но он почти никому не разрешал в нее заходить. В этой комнате находились также его книги, числом около 450, часть которых была подарками от их авторов. Поскольку он ранее был библиотекарем здешней королевской замковой



библиотеки, где находились некоторые замечательные произведения и, особенно, путевые очерки, являвшиеся настоящей сокровищницей для его физической географии, и так как в дальнейшем он получал от своего издателя новейшие книги для ознакомления, ему было легче, чем другому университетскому преподавателю, отказаться от обширной коллекции книг.

К концу зимы он начал жаловаться на неприятные, пугающие его сны. Часто у него в ушах звучали мелодии народных песен, которые он слышал в ранней юности на улицах, и он, при всей силе своего абстрактного мышления, не мог от них избавиться. Часто ему на ум приходили нелепые школьные считалки. Можно привести одну из них: Vacca, щипцы, forceps, корова, rusticus, борода, nebulo — ты снова¹⁹. Говорят, что в почтенном возрасте подобные дурачества мучают стариков и раздражают их своим произвольным припоминанием. С Кантом дело обстояло именно так. Как эти, так и другие бессмысленные стишки, так же, как и его сны, мешали ему ночью: одни долго не давали уснуть, другие страшно его пугали, когда он еще крепко спал, и лишали его ночного покоя, этого укрепляющего средства отдыха для слабых стариков. Почти каждую ночь он дергал шнурок, проходивший через потолок его спальни и приводивший в движение колокольчик в комнате прислуги, расположенной над его кроватью. Как бы быстро ни вставал и ни поспешал вниз слуга, он все же всегда приходил слишком поздно. Он часто приходил своего хозяина, выпрыгнувшего из постели, уже


¹⁹ Лат.: vacca — корова; forceps — щипцы; rusticus — крестьянин, простак, грубый, неуклюжий, неловкий человек; nebulo — бездельник, негодяй, мошенник.



в прихожей потерявшего, как уже упоминалось, чувств во времени. Слабость в ногах, преимущественно сразу после подъема, увеличивающаяся от того, что тело долго находилось в горизонтальном положении, в котором Кант пребывал, почти недвижим, часами, приводила иногда к падениям. Они не наносили ему большого вреда, не считая синяков, но последствия их, если бы они вовремя не были устранены, могли стать смертельными.

Поэтому я решил сделать Канту предложение, от которого, как я мог предвидеть с достаточно большой уверенностью, он как можно дольше станет отказываться, а именно: позволить его слуге спать с ним в одной комнате. Я знал, сколь сильны устоявшиеся привычки Канта. Он возражал, хоть и с мягкой улыбкой, против этого. Я упрекнул его в том, что он не держит обещания, данного некогда добровольно, принимать мои предложения даже тогда, когда не видит в них пользы или необходимости, и предложение было принято в соответствии с моими пожеланиями. Вначале Кант еще жаловался, что присутствие другого человека мешает ему спать, но я сослался на необходимость этого, на данное им обещание следовать моим советам, и вскоре последние жалобы прекратились. Спустя непродолжительное время Кант сердечно благодарил меня за принятые меры: они не только увеличили его доверие ко мне, но и ускорили принятие и других правил, которые я устанавливал ради него и которым он следовал.


Его опасения по поводу вздутия на устье желудка все более усиливались. Он даже пробовал принимать лекарства, против которых обычно яростно возражал: несколько капель рома на сахар, нафту, магнезию, ле-



денцы от вспучивания, — но все это были лишь паллиативы, а радикальному лечению препятствовал его преклонный возраст. Его страшные сны становились все более пугающими, а его фантазия соединяла отдельные сцены снов в целые ужасные трагедии, впечатление от которых было столь сильным, что эти видения еще долго не отпускали его и после пробуждения. Ему казалось, что во сне его окружают разбойники и убийцы. Это ночное беспокойство из-за кошмарных снов все больше усиливалось, и в первые минуты после пробуждения слуга, спешащий ему на помощь, чтобы успокоить его, представлялся ему убийцей. Днем мы говорили о ничтожности его страхов, Кант сам смеялся над собой и записывал в свою книжицу: «Не давать волю ночным фантазиям».


Как уже было сказано, комната Канта была специально затемнена. Если он видел снаружи сумерки или дневной свет, то считал это искусственным обманом, который его пугал. Поэтому по моему совету ночью зажигалась свеча. Вначале это его раздражало, и сперва свечу ставили перед дверью комнаты, а затем непосредственно в комнату в светильнике, который во избежание вреда помещался в пиалу с водой так, чтобы свет его не падал на Канта. И к этим переменам он вскоре привык.

Он стал все менее ясно выражаться. Страдая теперь так часто бессонницей, он захотел часы с боем, я одолжил ему свои. Хотя это были обычные часы с боем, он, не привыкший слышать какие-либо звуки ночью, называл их звучание музыкой флейт и каждый день просил меня оставить их ему. Он повторял свою просьбу, а я — свои клятвенные заверения в том, что не заберу их, пока он сам этого не захочет. Но вскоре он стал жало-



ваться на то, что ему мешает бой часов. Я обтянул молоточек платком, и помеха была устранена.

Аппетит его был теперь не таким хорошим, как раньше. Его потеря казалась мне дурным предвестием. Некоторые утверждают, что трапеза Канта была более плотной, чем это свойственно даже здоровому человеку. Мне это кажется неубедительным по следующей причине. Кант ел всего лишь раз в день. Если посчитать, сколько за всё время съедает тот, кто утром пьет кофе и ест при этом хлеб, а потом еще и наслаждается вторым завтраком, потом следует добрый обед и, наконец, полдник и ужин, то объем блюд, употребленных Кантом, покажется не слишком большим, тем более что он никогда не пил пиво. Он был непримиримейшим врагом этого напитка. Если кто-либо умирал в расцвете сил, Кант говорил: «Вероятно, он пил пиво». Если упоминалось о чем-то недомогании, тут же следовал вопрос: «Он пьет вечером пиво?» Из ответа на этот вопрос Кант делал вывод о положении звезд пациента. Он называл пиво медленно убивающим ядом, подобно тому молодому врачу, что объявил ядом кофе, за чашкой которого он встретил Вольтера. Вот только ответ, который врач получил от Вольтера: «То, что он убивает медленно, — это точно, ведь я наслаждаюсь им уже около 70 лет», — Кант вряд ли смог бы услышать от истинных любителей пива. Нельзя отрицать, что в утверждениях Канта было немало истины, что вымывание желудочного сока, вязкость крови и ослабление сосудов были следствиями частого употребления этого напитка, чье воздействие усугублялось вальяжным образом жизни. Во всяком случае, Кант считал пиво главной причиной всех видов геморроя, какие он только знал. Было время, когда он вроде бы заметил что-то




подобное у себя, но его тело не нуждалось в *beneficīia naturae*²⁰, и Кант признался, что он ошибся. Невыносимыми были для него люди, которые все время чем-то наслаждались; было забавно слышать, как Кант перечислял все виды наслаждений, присущие этим кутилам, и описывал всю их жизнь. В этом описании было заметно, однако, что нарисованная им картина являлась лишь идеалом.

В последнюю весну его жизни, 22 апреля, день его рождения, достойно и радостно праздновался в кругу всех его сотрапезников. Задолго до этого праздник стал приятным предметом наших разговоров, считались дни, которые оставались до него. Он заранее радовался ему. Но и это лишь подтверждало тот факт, что его теперешние радости скорее заключались в ожидании и приятных фантазиях, чем в самом наслаждении. Надежда увидеть подле себя своего старого друга, военного советника Ш.²¹, в обществе которого он провел так много радостных часов своей жизни в доме почившего к тому времени советника фон Гиппеля²², необычайно поднимала его настроение. Даже известия о том, насколько продвинулись необходимые приготовления к этому празднику, вызывали у него радостный возглас: «О, это превосходно!» Когда же наступил этот день и общество собралось, он стремился быть веселым, но не получал истинного наслаждения. Шум, производимый беседой столь многочисленного общества, от которого он отвык, казалось, оглушал его, и появилось ощущение

²⁰ Лат.: милости природы.

²¹ Военный советник Иоганн Георг Шефнер (1736—1820), юрист, пробовал себя также в качестве поэта.


²² Теодор Готлиб фон Гиппель (1741—1796) — бургомистр Кёнигсберга, государственный служащий, писатель.



ние, что это было последнее собрание подобного рода и по такому поводу. Он по-настоящему пришел в себя только когда, передевшись, остался лишь со мной в своем кабинете, чтобы обсудить подарки, которые должны были получить его домочадцы. Ведь Кант радовался только тогда, когда убеждался, что и другие вокруг него довольны. Поэтому при каждом выезде на прогулку он настаивал на подарке для своего слуги. Я дал ему возможность насладиться покоем и, как обычно, предложил свои услуги. Он всегда был против всего торжественного и необычного, против всяких поздравлений по подобным случаям и в особенности против царящего на них пафоса, в котором он неизменно видел нечто пресное и смешное. За мои скромные усилия по организации этого праздника он в этот раз отблагодарил меня совершенно непропорциональным образом, употребляя выражения, которые были лишь явными доказательствами одолевающей его слабости. Возможно, мысль о том, что он достиг столь почтенного возраста, сыграла свою роль в том, что он был так растроган и высказал свою благодарность в экзальтированных выражениях. Двадцать четвертого апреля 1803 года он записал в свою книжицу: «По Библии, дней лет наших — семьдесят лет, а при большей крепости — восемьдесят лет; и самая лучшая пора их — труд и болезнь»²³.

Приближалось лето, и теперь должны были начать те дальние поездки по стране и за границу, которые планировались. Однажды, посетив его в ранний час, я был совершенно потрясен, когда он поручил мне со степенной серьезностью и определенной решимостью взять часть его накоплений для покрытия издержек,


²³ Псалтирь, Псалом 89, 10.




связанных с предстоящей поездкой за границу. Я не возражал ему, но расспросил подробнее о причине такого внезапного решения, которая, как выяснилось, состояла в том, что он не мог более выносить вздутия на устье желудка. Я отвечал ему: «Post equitem sedet atra ciga»²⁴; это касается и случая с его вздутием на устье желудка, от которого не так просто убежать. Цитаты из древних поэтов всегда производили впечатление на Канта, и та, которую я привел, тоже очень быстро изменила его решение, которое он принял в слабости своей лишь потому, что не мог получить совета и не видел выхода, как устранить это вздутие. На повестке дня стоял разговор о многонедельном пребывании в деревне в маленьких крестьянских хижинах, об участии в трапезах с грубой деревенской едой, в обществе крыс, мышей и других насекомых в грязных жилищах селян. Решительная серьезность и трогательная тоска, с которой он заламывал руки и поднимал к небу глаза, моля о тепле, чтобы удались наши поездки, вселяли в меня сомнение, не следует ли, пусть и не в полном объеме, но хотя бы отчасти удовлетворить его желание путешествовать. Я предложил отправиться в загородный домик, в котором мы останавливались в прошлом году. «Хорошо, — ответил Кант, — только если это далеко». Я ответил: «Любой путь может быть долгим, если ехать в объезд, а наше пребывание там может продлиться до осени».

Достаточно поздно, примерно в то время, когда наступил самый длинный день в году, мы поехали в этот домик в деревне. При посадке в карету лозунгом было:

²⁴ Лат.: «Позади всадника сидит мрачная забота» (Гораций, Оды, III, 1, 37—40).




«Только чтобы подальше!», — но мы еще не выехали за ворота, а путь уже казался ему слишком длинным. С горем пополам мы добрались туда, лишь наполовину довольные. Кофе был готов, но он, не дав себе времени его выпить, настоял, чтобы мы снова сели в карету и поехали обратно. Слишком долгой показалась ему дорога домой, занявшая не более 20 минут. Его слабость, делавшая для него время таким длинным, превратилась в своего рода нетерпение, которое почти взяло над ним верх, но при этом он не пытался винить меня в предпринятой поездке или слишком долгим ожидании. «Когда же это закончится?» — этот вопрос он повторял каждую минуту. И повторял его с таким выражением, с такой декламацией, словно задавал его впервые. Но я при этом оставался совершенно спокоен, дал всему идти своим чередом, потому что хорошо знал, что как только он вернется к своему обычному спокойному положению, все забудется. Как он радовался, увидев снова свой дом! Недовольный далеким путешествием и долгим отсутствием, он дал себя раздеть, стал спокойнее, тихо заснул, и его не тревожили и не пугали никакие сны. Вскоре после этого он снова с удвоенным энтузиазмом завел разговор о поездках, дальних поездках, путешествиях за границу, но последующие выезды были весьма похожи на первый, за исключением небольших изменений. Мы совершили около восьми таких поездок: либо в тот домик, либо в мой сад, либо в другой, и это было всё, что мы предприняли в этом году. И эти поездки, особенно к загородному домику, были для него весьма полезны. Они вновь вызывали в нем те идеи прежних лет его жизни, которые его весьма ободряли. Упомянутый загородный домик находился на холме под высокими ольхами. Внизу, в долине,



протекал маленький ручей с водопадом, шум которого привлекал Канта. Этот участок пробудил в нем дремавшую идею, которая стала развиваться с большой живостью. С почти поэтической живописностью, которой Кант обычно избегал в своих рассказах, он последовательно описывал мне удовольствие, которое ему доставляло прекрасное летнее утро в прежние годы его жизни, когда он, находясь в садовой беседке дворянского имения на высоких берегах Алле²⁵, наслаждался чашкой кофе и выкуриванием трубки. Он вспоминал при этом о беседах в обществе хозяина дома и своего хорошего друга генерала фон Л.²⁶ Все это так явственно представлялось старику, словно у него это было перед глазами, а этим обществом он все еще наслаждался. Чтобы по-настоящему подбодрить его, стоило лишь мимоходом завести разговор об этом, и он тут же становился снова весел и радостен. Вообще его не могла обрадовать самая приятная беседа так, как рассказ о приятнейших событиях прошлых лет. Иллюзия, что он сам вспоминал обо всем том, на что его наводил в разговорах кто-то другой, и чувство собственных сил, порождаемое ею, действовало на него в высшей степени благотворно и ободряюще. Пробудить это благотворное чувство было истинной заслугой, которой обладали все окружавшие его сотрапезники. Но необходимо было также знать до тонкостей его идеи, желания


²⁵ Русское название реки Лава. Имеется в виду поместье Грос Вонсдорф (сегодня — Курортное).

²⁶ Хозяин дома — барон Фридрих Вильгельм фон Шрёттер (1712—1790). Генерал фон Л. — Даниэль Фридрих фон Лоссов, часто приглашавший Канта в свое имение Клешауен (сегодня — Кутузово).



и события его жизни. Поэтому, перед тем как войти в его комнату, я осведомлялся обо всем, что произошло в мое отсутствие. Я старался узнать заранее о каждом сне, который он видел, о каждом желании, которое он выразил, о каждом происшествии, которое успело случиться. Поэтому я легко понимал его, несмотря на его теперешний способ неясно выражаться. Я заранее знал, что он хотел сказать. Иногда он в плохом настроении жаловался мне на свою слабость, но я отвлекал его от неприятных предметов, прерывая его вопросом из области физики или химии, стремился сделать увлекательным для него этот новый объект разговора; неприятный предмет забывался, а более приятный пробуждал новый интерес.


Этим летом мимолетное развлечение приносила ему, более чем обычно, музыка при разводе часовых. Когда парад проходил мимо его дома, он велел открывать среднюю дверь задней комнаты, в которой жил, и внимательно и с удовольствием слушал. Казалось бы, что глубокий метафизик может найти наслаждение только в музыке, отличающейся чистой гармонией, смелыми переходами и, конечно, разрешенными диссонансами, или в произведениях серьезных композиторов, таких, как Гайдн, — но это было не так, что подтвердило следующее обстоятельство. В 1795 году он навестил меня с ныне покойным тайным советником Гиппелем, чтобы послушать мой смычковый рояль. Адажио со вступлением флажолета, похожего по звуку на гармонь, показалось ему скорее отвратительным, чем безразличным, но когда открыли крышку и заиграли в полную мощь, инструмент ему весьма понравился, особенно подражание симфонии с целым оркестром. Он всегда с недовольством вспоминал, как присутство-



вал при исполнении траурной музыки Моисея Мендельсона, которая, по его собственному выражению, заключалась в бесконечном надоедливом визге. При этом он отметил, что мог бы предположить, что необходимо было выразить и другие ощущения, кроме, например, чувства победы над смертью (то есть героической музыки) или гордости свершения. Поэтому он уже намеревался пуститься наутек. После этой кантаты он больше не посещал концертов, чтобы его не мучили подобные неприятные ощущения. Грохочущая военная музыка превалировала над всякой другой.

Примерно к концу лета, а, особенно, осенью его слабость нарастала с неимоверной быстротой. Если слуги не было дома и Кант оставался один, он был в опасности, ведь его падение могло закончиться его смертью. Однажды в отсутствие прислуги он упал настолько сильно, что его лицо и спина были залиты кровью. После применения настойки Тедена, которую я тут же приобрел, все прошло и без помощи врача. Он никогда не страдал от физической боли, и все же принимал эту свою такую неожиданную судьбу с мужественным самообладанием и философской отрешенностью от того, что теперь нельзя было изменить и конца чего нужно было спокойно дожидаться.


Но последний случай все же показал, что ему опасно оставаться одному даже на мгновение. Получив предварительное разрешение, я взял к нему в дом его сестру — личность, похожую на него чертами лица и добротой, находившуюся в приюте госпиталя Святого Георга. Она уже многие годы получала от него пенсию в качестве прибавки, что позволяло ей с ее скромными потребностями вести уютную и беззаботную жизнь. С возрастом ее пенсия была увеличена вдвое, а когда



она вошла в его дом, была еще повышена. Уже много лет она была вдовой, муж ее умер, не прожив с ней и года. Хотя она была всего на 6 лет моложе своего брата, она в полной степени сохранила свои духовные и телесные силы, но и была достаточно оживленной и бодрой. Кант не привык к тому, чтобы кто-то был с ним рядом, поэтому она, войдя в дом, заняла сначала место за его стулом, чтобы ее присутствие не могло ему помешать. Все больше и больше он привыкал к ее обществу. Ее скромное, сдержанное поведение, ее внимательное отношение к моменту, когда брат не захочет более общаться, заставляло его ценить ее. Она не только несла обязательство быть рядом с ним как его кровная родственница, но и как добрая и весьма сердечная женщина окружала его необходимыми для ухода при его возрастающей слабости терпением, кротостью и снисхождением. Хотя сначала, когда ее приняли в дом Канта, речь шла всего лишь о ее присутствии, она, будучи особой деятельной, не заставила дожидаться своей действенной помощи и поддержки, а посвятила себя ему с сестринской нежностью. Никогда не возникало между нами нечто вроде спора о границах наших сфер ответственности, никогда не случалось раздора между ней и слугой Канта. Вообще Кант мог на нее положиться.

Все, казалось, указывало на то, что нынешнее, наступающее лето будет последним летом в его жизни. Свой последний выезд он совершил в августе в сад своего уважаемого друга и частого сотрапезника советника Х. в обществе господина М.²⁷ Оба были на


²⁷ Вильям Мотерби (1776—1847) — друг Канта. В 1805 году основал «Общество друзей Канта».



обеде у Канта, где и сделали ему предложение совершить эту поездку. Кант, привыкший ко мне, не хотел ехать без меня. Поэтому меня с огромной поспешностью отыскивали, и я принял в ней участие. Я не хотел пропустить ее, потому что она была последней. Во время нее предполагалась встреча с его почтенным другом профессором Ш. Кант прибыл в сад раньше, чем его друг, но в связи со своей слабостью был совсем не расположен к общению. Поскольку он полностью потерял чувство времени, ожидание, пока прибудет друг, показалось ему слишком долгим, его невозможно было уговорить дожидаться друга, чтобы все же его увидеть. Он с нетерпением торопился закончить свою последнюю экскурсию, как он называл свои выезды на природу. Остаток последнего летнего месяца больше не предоставил ни одного подходящего дня для выезда, так что в жизни Канта они закончились.


В свою часто упоминаемую книжицу Кант записал 17 августа следующий стишок: «Нас муки каждый день терзают, любой легко пересчитает, кому нас больше жаль. Раз месяц 30 дней включает, то всех нас меньше огорчает, конечно же, февраль». Следующий февраль был месяцем его смерти, в котором он претерпел последние и наименьшие муки в сравнении с мучившими его ранее головными болями, вздутиями на устье желудка и кроткой покорностью при отходе на покой. Если бы он записал эти строчки всего лишь на пять дней раньше, то получилось бы, что он держал эту похвальную речь ровно за полгода до месяца своей смерти. Никогда ранее ни от Канта, ни от кого-либо другого я не слышал этот стишок, и я не знаю, откуда он его взял.

И вот теперь, когда приближалась осень, и, наблюдая за Кантом, стало заметно, что он почти не мог




пройти ни шагу, даже если его вели и поддерживали, почти не мог сам прямо сидеть, почти не мог уже внятно говорить из-за слабости, можно было подумать, что она уже не сможет возрасти и сегодняшний день должен стать последним. Но каждый день доказывал обратное. Так же, как поздней осенью постепенно всё ниже опускается температура, но временами, когда на термометр падают солнечные лучи, столбик его поднимается, потом всегда снова опускаясь еще ниже температуры, которую показывал до того, так же обстояло дело и с силами Канта. Его великий дух все еще время от времени героически стремился ввысь, но слабость тела пригибала его вниз, при каждом усилии оно теряло эластичность, не становясь, тем не менее, совершенно дряблым.

В начале осени значительно упало зрение его правого глаза. Левый уже давно не видел. Обнаружил он эту потерю зрения случайно, когда присел для отдыха на скамью во время прогулки. Его дух наблюдения всегда был деятелен, поэтому он провел опыт, который часто до того сам с собой устраивал, каким глазом он лучше видит; он взял лист газеты, который как раз был у него с собой, закрыл один свой глаз и обнаружил, к своему недоумению, что левым он больше ничего не может видеть. Он рассказывал мне о похожих странных событиях из прежних лет своей жизни. При возвращении с прогулки перед Штайндаммскими воротами он какое-то время видел башню Новой Росгартенской кирхи раздвоенной. Дважды в своей жизни он на несколько мгновений абсолютно ослеп. Насколько редки подобные явления, я оставляю решать врачам. Это и похожие происшествия немало беспокоили Канта, хотя он всегда был готов ко всему.



Теперь и его правый глаз стал настолько слабым, что он ничего больше не мог видеть на расстоянии. Меня очень беспокоило это обстоятельство, я думал о том, сколь ужасным будет его положение, если он полностью потеряет зрение. Чувство беспомощности увеличивало его желания и требования, часто приводя меня в сильное замешательство. Он едва мог видеть, — настолько, чтобы немного читать и писать, — в то время как еще за несколько недель до нынешнего его состояния он невооруженным глазом мог прочесть даже самый мелкий шрифт. Осенью он еще писал так, как можно с закрытыми глазами поставить свою подпись, когда имеешь привычку к письму. Теперь он предъявлял серьезные требования ко мне и к моему странному мастерству. Я должен был придумать какое-то средство для утоления его стремления видеть, улучшить его оставшееся зрение и вообще привести его (каким способом, решать должен был я) в состояние, чтобы он мог читать. Для него не было ничего более скучного и невыносимого, чем когда ему читали вслух. Попытки этого рода, предпринимаемые другими, были прекращены в связи с его нежеланием. Как бы ни извинительно было его желание, как бы ни хотел я удовлетворить его хотя бы отчасти, но исполнение его было для меня совершенно невозможно. Чем настойчивей он его повторял, тем мучительней становилось мое положение. Я предложил ему очки для чтения, но для него они были оковами, которые он не хотел надевать. Очки были заброшены, он совершенно не мог к ним приспособиться. Позвали окулиста, который попробовал подобрать стекла с разным фокусом, но Кант больше ничего не мог прочесть.


Теперь он требовал от меня, чтобы я сделал ему двойные или тройные очки, скрепляя их на соответст-



вующем расстоянии друг от друга. Я считал это нецелесообразным, поскольку сквозь несколько стекол очков из-за слишком частого преломления лучей объекты должны казаться темнее, и увеличенное число выпуклых стекол настолько сократило бы фокус, что из-за сильного приближения книги к глазам дневной свет не смог бы свободно падать на напечатанный текст. Был проведен эксперимент, при котором трое очков соединялись при помощи воска, и этот опыт доказал невозможность решения его задачи.


Проблемы Канта, касавшиеся механики, было не так уж легко разрешить с ожидаемым им успехом. Поскольку у него не было знаний практической механики, он часто требовал выполнения невозможных заданий. Приведу пример из прежних лет. Примерно десять лет тому назад он потребовал моего участия в изобретении и создании измерителя упругости воздуха. Две стеклянные трубки очень разного калибра, как у термометров, с цилиндрическими сосудами, нужно было приварить друг к другу, обе должны были быть открыты и согнуты под углом в 45 градусов. Более толстая трубка должна была быть диаметром примерно в четверть дюйма, более тонкая — толщиной в волос и наполовину заполнена ртутью. Этот метеорологический инструмент должен был таким образом закрепляться на доске, чтобы более толстая трубка приняла перпендикулярное положение, а более тонкая, на которой должна была обозначаться шкала в 100 градусов, получала направление под углом 45 градусов. При уменьшающейся упругости воздуха ртуть²⁸ в меньшей трубке должен был сжиматься, а при увеличившейся расширять-

²⁸ Имеется в виду ртуть.




ся. Я возражал против возможности такого успеха, который, насколько я знаю, противоречил бы закону, по которому *Tubi communicantes*²⁹, независимо от размера труб, уравнивают жидкость, находящуюся в них, за исключением разве что ее прилипания к стеклу. Электрометр был готов, полученные посредством него наблюдения и результаты были записаны в календарь: «Электрометр показывает 49 градусов». На следующее утро это были 50 градусов. Кант хотел уже выкрикнуть свое «Эврика!», но он был не настолько близок к цели, как Архимед. Когда я обратил его внимание на увеличившуюся температуру в комнате, которая могла изменить вязкость ртути, он стал тих и печален. Были проведены опыты с электрометром, барометром, термометром и гидрометром, и не было замечено ничего определенного, никаких соответствий, кроме того, что в тепле и на холоде электрометр слабо работал в качестве термометра. Я не обошел вниманием это обстоятельство в том числе и для того, чтобы одна из идей Канта, которую он, возможно, ни с кем кроме меня не обсуждал, не пропала совершенно. Даже если тепло и холод, увеличившаяся сила тяжести или плотность воздуха могли повлиять на изменения в состоянии ртути по электрометру, даже если дело совершенно не было прояснено, то все же и более проникательные проверки и более точные наблюдения не принесли бы других результатов. Кант построил свою теорию и ее возможную действенность на различной кривизне дуг сферического закругления ртути на обоих концах в трубках разного диаметра. Возможно, другой естественный испытатель усовершенствует эту брошенную Кантом

²⁹ Сообщающиеся сосуды.




идею; или хотя бы желание Канта, исполнения которого он не видел на том пути, по которому шел сам, послужит кому-то из физиков новым импульсом, побуждающим прийти к той же цели иным путем. Кант возлагал большие надежды на инструмент для использования в метеорологии, способный определять какое-либо качество воздуха хотя бы с некоторой определенностью. Поэтому он попросил меня преодолеть сложности путем размышлений и опыта, чтобы приблизиться к цели; обещал при обнародовании открытия не умолчать о моем вкладе в него, не приписывать его себе самому, словно моя часть работы стоила бы упоминания таким человеком, или словно он был в состоянии приписать себе хотя бы крохотную часть чужой заслуги в том случае, если бы мне удалось хотя бы чего-то добиться в этом деле. Это последнее обстоятельство извиняет, возможно, отчасти то, что речь зашла об электрометре, упоминание о котором было бы излишним, если бы это высказывание Канта не показывало бы в благоприятном свете его скромность.

Эта его идея заставляет меня вспомнить о другой, которую, правда, невозможно реализовать, но она остается весьма любопытной. В то время, когда господин доктор Хладный проводил в Кёнигсберге свои акустические эксперименты, он часто навещал меня и показывал мне некоторые приемы, как представить звуки в видимой форме. После его отъезда в разговоре с Кантом речь зашла об этих странных явлениях. Кант высоко оценивал это изобретение как открытие неизвестного доселе закона природы и предложил мне провести серьезный физический опыт. А именно, он предложил направить солнечный микроскоп на оконное стекло, колеблющееся от звуков, производимых смычком, что-




бы посмотреть, что за эффект на полотне произведут преломляющиеся через это волнообразно вибрирующие прозрачное тело под различными углами солнечные лучи. Для меня, должен признаться, эта идея оказалась сенсационной. Как только появилось солнце, я поспешил заняться опытами, которые, правда, при обычном устройстве солнечного микроскопа не смогли привести к каким-либо результатам. Эту идею я тоже считаю достойной сохранения.

В последний год своей жизни Кант очень неохотно принимал посторонних лиц и отказывался от них, насколько это было возможно. Когда путешествующие совершали на своем пути объезд во многие мили с тем лишь намерением, чтобы посмотреть на него, и обращались ко мне с большой любезностью, я часто был повергнут в смущение, как же устроить им доступ к Канту. Негативный ответ стоил мне больших усилий и создавал впечатление, что кто-то решил поважничать. Канту тяжело давалось, да ему и казалось унижительным, что теперь, когда он был не способен более к беседе, кто-то увидит проявления его слабости. Я мог бы привести достаточно примеров как скромности людей, так и их навязчивости. Вот лишь один из тех, которые относятся к первой категории. Большой поклонник Канта, доказавший, как он уважает этого человека, мужчина, связанный с ним общими интересами, прибыл сюда, чтобы вступить в важную должность, подал свою визитную карточку, но преодолел свое желание нанести личный визит Канту, чтобы не потревожить его ни на мгновение. Если бы я знал об этом до смерти Канта, то мог бы, будучи осведомлен об образе мыслей Канта, ручаться за то, что он после такого проявления гуманности обязательно счел бы необходимым познакомиться с этим своим коллегой и пригласил бы его в




круг своих сотрапезников. Временами для меня было невозможным отказать его поклонникам в минутах общения с ним. Обычно он отвечал на комплимент, что кто-то рад видеть его: «В моем лице Вы видите старого, отжившего свое, немощного и слабого человека». Я был рад тому, что среди путешественников, проездом посещавших Канта, я познакомился с французским гражданином Отто, который заключил мир с лордом Хоксбери. Другой человек, искавший встречи с Кантом на склоне его жизни, также заслуживает того, чтобы о нем вспомнили. Это был молодой русский врач, который особым образом проявлял свой энтузиазм по отношению к Канту. Он с нетерпением ждал момента, чтобы быть ему представленным. Едва лишь он увидел Канта, как, проникнутый глубочайшим уважением, бросился целовать ему руки, чтобы живо выразить свою радость. Кант, которого всегда смущало такое проявление почтения, и в этот раз почувствовал то же и не знал, как его избежать. На следующий день тот человек подходит к слуге, осведомляется, что делает Кант, спрашивает, может ли он в своем возрасте жить без забот, и просит на память один-единственный листочек, написанный собственноручно Кантом. Слуга ищет на полу, находит там листок из предисловия к его «Антропологии», который Кант изъял, переделав иначе. Слуга показывает мне листок и получает разрешение отдать его. Когда он принес листок молодому врачу на постоялый двор, тот схватил листок с радостью, поцеловал его, в порыве энтузиазма снял с себя сюртук и жилет, отдал тут же слуге и то и другое, добавив сверху талер. Кант, весьма не любивший экзальтированные высказывания и преувеличения, а предпочитавший простоту, прямоту и естественность, удивился, хотя и с некоторой отстраненностью, но все же и со



своеобразным удовольствием, такому странному поведению своего юного почитателя.


Я перехожу теперь к новой эпохе в жизни Канта, в которой произошла полная перемена всего его прежнего положения. Самым важным днем в жизни, которую он вел до сих пор, стало 8 октября 1803 года. В этот день Кант впервые за всю его жизнь серьезно заболел. В начале преподавательской деятельности у него случился холодный озноб, от которого он избавился совершив загородную прогулку, выйдя через Бранденбургские ворота и войдя обратно в город через Фридрихские ворота. В более поздние годы нашего общения он пострадал от сильной контузии головы, ударившись о дверь. Если угодно, можно назвать оба этих несчастных случая болезнями, но больше он, насколько он мог вспомнить, ни от чего не страдал. Но 8 октября подорвало основы его физического существования. Я буду вынужден затронуть некоторые, обычно не упоминаемые обстоятельства, чтобы рассказать об истории его болезни несколько подробнее. В последние месяцы аппетит Канта изменился, и его вкусовые пристрастия, вкус превратился в безвкусицу. Он больше не хотел никаких блюд, зато появилась сильная тяга к хлебу с маслом, он опускал его кусочки в тертый английский сыр и поедал с жадностью и наслаждением. Сначала во время трапезы, когда подавались другие блюда, ему казалось, что время тянулось слишком долго, и он желал быстрее перейти к его любимому лакомству; позже он уже не дожидался перемены блюд, а между каждым блюдом просил подать эту вредную для него еду и поглощал ее большими порциями. Особенно это проявилось 7 октября, за день до его болезни, когда он между блюдами, которые отвергал, лакомился с избытком этой вредной для него едой. Я и другой его сотрапез-



ник советовали ему отказаться от частого употребления жирной, тяжелой и сухой пищи. Но тут он впервые сделал исключение из обычного правила одобрять и принимать мои предложения. С неистовством он настаивал на угождении своему испорченному вкусу. Думаю, что не ошибаюсь в том, что впервые заметил своего рода недовольство мной, которое должно было означать для меня, что я перехожу границы, которые он мне определил. Он сослался на то, что эта пища никогда не вредила ему и не могла навредить. Сыр был съеден, и нужно было натереть еще. Мне пришлось замолчать и уступить, после того как я испробовал всё, чтобы отговорить его от этого.

Самые пагубные последствия, нараставшие в арифметической прогрессии, не замедлили наступить. Печальному дню предшествовала беспокойная ночь. До 9 утра все еще было как обычно, но в это время Кант, которого поддерживала его сестра, внезапно соскользнул с ее руки на пол. Позвали слугу. Было похоже, что Канта хватил удар. Его постель перенесли из холодной спальни в отапливаемый кабинет. Как только его уложили, слуга поспешил ко мне со срочным сообщением: господин находится при смерти. Я тотчас же послал за врачом, профессором Э.³⁰, и сам поторопился туда, нашел Канта лежащим в своей постели без сознания, безмолвным и с остановившимся взглядом. Сколько бы к нему не обращались вновь и вновь, не удавалось заставить его поднять взор. Врач спешно пришел, но как раз перед тем, как он прибыл, не ослабленный никакими излишествами организм Канта помог сам себе невольным облегчением. Примерно через час он смог


³⁰ Профессор медицины Кристоф Фридрих Эльснер (1749—1820), ставший к этому времени ректором Альбертины.



поднять глаза и издал невнятное бормотание, которое к вечеру, когда он подольше отдохнул, перешло в более внятную речь. В первый раз в своей жизни он несколько дней лежал в постели и ничем не питался. Двенадцатого октября, в полдень, я был у него один, он съел одну ложку пищи и потребовал сыр и хлеб с маслом. Я решительно настроился ожидать от Канта всего что угодно, любых для меня последствий, но не позволить ему больше есть сыр. Я отговаривал его, приводя веские причины, и он прислушался к моим советам, поскольку я обрисовал ему последствия, к которым приведет употребление такой пищи. Но он ничего не знал о своей болезни и посчитал мое утверждение, что несварение желудка, произошедшее от избыточного употребления сыра, легко могло стоить ему жизни, необоснованным, а мое решение лишить его этого лакомства — слишком жестоким. Несколько дней спустя он готов был дать гульден, талер и даже больше за кусочек сыра, добавив, что они ведь у него для этого и есть, — но я стойко сопротивлялся этому. Он разразился щемящими душу жалобами по поводу запрета на сыр, но постепенно полностью отвык от него, хотя по-прежнему часто вспоминал о нем. Я утверждал, что изготовление сыров относится к утраченным искусствам, о сыре не может больше быть и речи. С 13 октября на обеды стали снова приглашаться его обычные сопразезники, ему стало лучше, но он редко приходил в то состояние бодрости, которое было свойственно ему до болезни.

Если раньше он любил растягивать трапезу, что называл *соenam dicere*³¹, то теперь стремился закончить ее как можно скорее. Блюда должны были быстро сле-


³¹ Лат.: вести трапезу.



довать одно за другим, и в два часа обед уже заканчивался. Встав из-за стола, то есть в два часа, он сразу отправлялся в постель, чтобы немного вздремнуть, но его пугали сны, которые можно было бы назвать фантазиями. В семь часов вечера начинало возрастать его беспокойство и продолжалось до пяти или шести часов утра, а иногда и дольше. Он то спокойно ходил туда-сюда по комнате, то на него наваливался страх, особенно после пробуждения.


С этого времени кому-нибудь приходилось быть с ним рядом все ночи напролет. Его вечно неутомимый слуга, который был весь день занят делами, не выдержал вскоре такого напряжения, так что необходимо было взять помощника, который мог бы его подменять.

Хотя Кант в прежние годы не особо привечал родственников в своем окружении, — но не потому, что стыдился их (он был бесконечно выше таких слабостей), а потому что он не мог бы с ними общаться так, чтобы это приносило ему удовольствие, — все же теперь я считал более благоразумным, по нескольким причинам, доверить его кровному родственнику, нежели чужому человеку. Для них это было не только прямой обязанностью, тем более что он оказывал им такую щедрую поддержку, но они также могли быть свидетелями моего отношения к Канту и моей заботы о нем и могли убедиться в том, что он ни в чем не испытывает недостатка; более того, что каждое его желание, не вредное для него, сразу же выполняется, а также в том, каких усилий требует забота о нем в его нынешнем состоянии. За приличное вознаграждение вдобавок к получаемой до сих пор пенсии и за щедрое угощение вечером сын его сестры бодрствовал подле него, подменяя его слугу. Я твердо уверен, — и подтвердить это




может любой из его беспристрастных сотрапезников, которые отчасти были свидетелями некоторых прини-
маемых мной мер, — уход за ним и обращение с ним
были надлежащими, что у него было всё, что человек
его положения и состояния не только обязан был
иметь, но и мог бы пожелать.

Восьмого октября здоровье Канта сильно ухудши-
лось, но силы его были еще не до конца подорваны.
Случались еще моменты просветления, в которые его
великий разум блистал, хоть и не столь ярко, как ранее,
но все еще заметно, и тем сильнее был свет его доброго
сердца. В те часы, когда слабость его отступала, он
выражал свою признательность за каждую предприня-
тую меру, облегчающую его участь, трогательной бла-
годарностью по отношению ко мне и действенной по
отношению к слуге, чьи героические усилия и неудо-
мимую верность он вознаграждал весомыми подарка-
ми. Их вид и ценность он обсуждал со мной. Он часто
стал произносить поговорку: «Кто скуп да жаден, тот в
дружбе не ладен». Слова значат немного, но лицо этого
почтенного человека, каждая черта которого выражала
глубочайшее презрение по отношению ко всему, что
даже только намекало на скупость, придавало этим
словам особое значение. Деньги в его глазах не имели
иной ценности, кроме как быть лишь средством, муд-
рое и целесообразное использование которого позволя-
ет творить добро. Из своего бюджета, складывавшегося
из состояния в 20 000 рейхсталеров и скромных дохо-
дов, которые приносила ему академическая деятель-
ность, в последнее время несколько уменьшившихся по
вышеуказанным причинам, он ежегодно перечислял на
содержание своей семьи и в помощь бедным сумму,




которую и более богатому нелегко пожертвовать. Это были тысяча сто двадцать три гульдена, которые выплачивались мной в его присутствии частично ежеквартально, частично ежемесячно; сюда входила пенсия Лампе в 40 рейхсталеров, но не включалась помощь некоторым беднякам, которую они получали от него раз в неделю. Обычно в пожилом возрасте люди очень часто становятся скупыми, во всяком случае, стремятся во всем экономить; Кант в преклонные годы отличался благородной и мудрой щедростью. Только в период доверительных отношений я впервые узнал от него о суммах, которые получали его родственники, да и то лишь тогда, когда стал сам их выплачивать.

Надоедливим нищим попрошайкам он обычно ничего не давал, поскольку его благотворительность основывалась на определенных принципах. Он умел, несмотря на свою физическую немощь, дать серьезный мужской отпор попрошайкам, мошенникам и подобным людям, которые хотели воспользоваться его слабостью. Ему хватало мужества и настойчивости, даже когда тело его одряхлело, нагнать страху на таких личностей. В последний год его жизни с таким отпором неожиданно столкнулась одна дама. Кант был один в своем кабинете. Двери, ведущие к нему с улицы, всегда были открыты. Когда домашние уходили в магазин, все комнаты запирались, кроме ведущих к нему. Однажды хорошо одетая женщина тихо и робко постучалась в дверь его комнаты. Вероятно, преувеличенные слухи о его слабости придали ей такой смелости. Кант крикнул: «Войдите!» Когда Кант быстро поднялся из-за стола, она смутилась и спросила тихо, учтиво и пристыженно: «Который час?» Кант вытащил свои часы, держа их




крепче, чем обычно, и ответил ей столь же скромно, который час. Она учтиво откланялась и поблагодарила Канта за его доброту. Едва закрыв дверь, она вспомнила еще об одной мелочи, о которой забыла. От имени своего соседа, которого она назвала и который и прислал ее сюда, поскольку он хотел установить время на своих часах по часам Канта, она обратилась с просьбой позволить взять ненадолго его часы, ведь даже несколько минут пути не позволят установить время с точностью. И тут Кант ополчился на нее с таким негодованием, что ей пришлось спастись бегством, а он, не понеся урона, утвердил свой статус победителя. В ту же минуту вошел я, подкрепление немного запоздало, иначе ее можно было бы легко поймать. Он рассказал мне о произошедшем приключении в радостном настроении. Я спросил его в шутку, что бы он стал делать, если бы дама была более отважна и действительно присвоила себе трофей? Он утверждал, что стал бы смело обороняться. Мне показалось, что победа в таком случае была бы на ее стороне, а Кант в преклонном возрасте впервые в своей жизни был бы побежден дамой. На эту историю похожа другая, которая приключилась почти в то же время. Другая женщина, также хорошо одетая, хотела обсудить с ним вопросы, только с глазу на глаз, без свидетелей. Кант, который ничего от меня не скрывал, отправил ее ко мне. Я признал в ней патологическую обманщицу и вспомнил, что недавно она выманила у другой почтенной дамы 10 талеров, которые та дала ей действительно только потому, что была дома одна и боялась возможного насилия. Ей пришлось раскрыть свое намерение, которое состояло не в чем ином, как в требовании вернуть дю-




жину серебряных ложек и несколько золотых колец, которые были ее собственностью и которые, по ее словам, ее бестолковый супруг заложил Канту без ее ведома. Она могла бы пойти на уступки и, если эти предметы не сохранились, готова к тому, чтобы ей возместили их стоимость эквивалентной денежной суммой, что ее вполне бы удовлетворило. Моим ответом на это требование был приказ слуге позвать комиссара полиции судебного округа. Она была в нерешительности и в явном замешательстве, принимать ли эти меры на свой счет или сделать вид, что ее пол, приличный костюм и невинность возвышают ее над подобными, не касающимися ее мероприятиями. Но ей показалось более подходящим прибегнуть к другому средству. Она стала умолять, описывать бедственное положение, в котором она находилась, чтобы оправдать свой необдуманный шаг, и была отпущена после устрашений и данного обещания никогда не переступить порог дома Канта.

После подобных отступлений я снова возвращаюсь к состоянию Канта. Его врач и ценимый им преданный друг посещал его так часто, как того требовало состояние его здоровья. Поскольку Кант, собственно, не был болен, а лишь стар и слаб, врач давал ему только питательные, укрепляющие и успокаивающие средства и подходил к делу с похвальной осторожностью. Кант безропотно принимал теперь все лекарства, чего не было в прежние годы. «Я хочу умереть, — говорил Кант, — но не от медикаментов. Если я буду совсем болен и слаб, можете делать со мной всё, что хотите, я смирюсь со всем, что произойдет, но не стану принимать предохранительных мер». Он вспоминал при этом об эпитафии на могиле одного человека, который, бу-



дучи здоровым, постоянно принимал лекарства, чтобы не заболеть, и чрезмерное их употребление сократило ему жизнь. Эта эпитафия гласила: «Н. Н. был здоров, но, поскольку он хотел быть здоровей здорового, он очутился здесь». Кант гордился тем, что ему не нужны были лекарства, давно не замечая того, что некоторые из них он ежедневно принимает, а именно три, а позднее четыре пилюли, которые каждый раз проглатывал после еды. Они состояли из равных частей венецианского мыла, бычьей желчи, ревеня и руфинской пилюльной массы. Их посоветовал ему ныне покойный Д. Труммер, его школьный друг, единственный, с которым он был на «ты». Опасаясь, что может забыть их принять, он просил своих сотрапезников позаботиться о нем и напоминать ему об этом. В вопросах медицины Кант был еретиком. Он имел обыкновение говорить: «Всё, что продается, покупается и выдается в аптеке, pharmason, venenum и яд — это синонимы. Он и раньше был склонен к ортодоксии в медицине и принимал для устранения вздутий на устье желудка несколько капель рома на сахаре по методу Брауна и упомянутые выше простые средства, которые должны были нейтрализовать кислоту в его желудке.


В декабре 1803 года он едва мог написать свое имя. Он видел так плохо, что не мог найти даже ложку, и когда я обедал у него, то размельчал ему еду, клал ее в ложку и давал ее ему в руку. Я объясняю себе то, что он не мог написать свое имя, следующим образом. Он больше не видит букв, которые пишет, а его память слишком слаба, так что буквы, которые он интуитивно пишет, он снова забывает, чего бы не случилось, если бы он видел. Произнесение букв вслух также было бес-



полезным, поскольку ему не доставало воображения представить себе их начертание. Уже в конце ноября я увидел в этом знак быстро надвигающейся на него судьбы. Поэтому я уже сейчас заполнил квитанции на выплату процентов в новом году, и он подписал их пока еще довольно чисто. Позднее, когда он подписывал бумаги, его имя настолько было написано неразборчиво, что я опасался сомнений со стороны высших инстанций в подлинности его подписи. Он решил составить на меня генеральную доверенность. Подпись под этим документом является последним росчерком пера, принадлежавшим руке Канта. Только крайняя необходимость подтолкнула меня к этой мере, которой я воспользовался позднее.

Как бы ни был Кант теперь слаб, он все же был способен иногда радоваться. Он всякий раз воодушевлялся, когда вспоминал о дне рождения, и я прилежно вычислял, сколько еще нужно ждать, пока ему исполнится 80 лет. Так случилось и за несколько недель до его смерти. Я пытался развеселить его напоминанием об этой дате. Тогда у него снова соберутся друзья, — говорил я, — чтобы выпить бокал шампанского за его здоровье. «Пусть это произойдет сегодня, здесь и сейчас», — был его ответ. Он продолжал настаивать до тех пор, пока его желание не было выполнено, выпил за здоровье своих друзей и был в тот день поистине радостен.


Свойственный ему дар выражаться эмоционально, но без аффектации, он сохранил и в преклонном возрасте. В прежние времена он умел, приятно изумляя окружающих, отчетливо расставить акценты и подчеркнуть интонацией то, чему он придавал особое значение. Этот присущий ему талант нельзя было назвать



ни патетической декламацией, ни надуманной жестикуляцией; с особенной живостью, теплотой и убедительностью он рассказывал о своем опыте, который поверг его в изумление. Речь зашла об удивительном инстинкте животных и о следующем случае: прохладным летом, когда насекомых было немного, Кант заметил колонию ласточкиных гнезд на здании склада муки у Лицента, несколько разбившихся птенцов лежали на земле. Пораженный этим случаем, он стал наблюдать с величайшим вниманием за ласточками и увидел, не поверив вначале своим глазам, что ласточки сами выбрасывали своих птенцов из гнезда. В изумлении от этого природного инстинкта, похожего на разум, научившего ласточек при недостатке доступного питания для всех птенцов пожертвовать несколькими, чтобы сохранить остальных, Кант сказал тогда: «Тут мой разум умолк, поскольку не оставалось ничего, как лишь преклониться и вознести хвалу». Он произнес это с неопишущим и неподражаемым выражением. Высокое благоговение, озарившее его почтенное лицо, интонации его голоса, то, как он сложил руки, энтузиазм, с которым произносились эти слова, — всё это было неповторимо.

Столь же ласковым и нежным было его лицо, когда он с искренним восхищением рассказывал о том, как однажды держал в руках ласточку и смотрел ей в глаза, и у него было такое чувство, словно он глядел в небеса.


Ему удавалось и комическое подражание диалектам разных народов. Я мог бы привести здесь забавный диалог на восточном наречии, который пропущу, поскольку он очень уж смешон, но сотрапезники Канта наверняка помнят его. Он был мастером подобных шу-



ток и в последние годы жизни еще записал в свою книжку: «клиентвейн и заржавленный хлеб», — так один француз назвал глинтвейн и обжаренный хлеб, потребовав их у хозяина харчевни.


Его последний труд и единственный манускрипт, в котором речь должна была идти о переходе от метафизики природы к физике, остался неоконченным. Насколько свободно я мог говорить о его подступающей смерти и обо всем том, что надлежало мне сделать после нее, согласно его пожеланиям, настолько неохотно обсуждал он дальнейшую судьбу своего манускрипта. То он считал, что не может больше сам судить о написанном, что всё уже закончено и требуются лишь последние завершающие штрихи, то согласно его воле надо было сжечь манускрипт после его смерти. Я дал эту работу его другу профессору Ш., ученому, чтобы тот оценил ее; как считал Кант, он лучше всего толковал его сочинения. Он выразил мнение, что это лишь самое начало труда, вступление к которому еще не дописано и не подлежит редакции. Усилия, которые Кант затрачивал на этот труд, вскоре подорвали остатки его силы. Он считал его своим главным сочинением, но, вероятно, его немощь сыграла важную роль в такой оценке.

Речь Канта, особенно в последние недели его жизни, стала очень невразумительной. С 8 октября он больше не ночевал в своей спальне. Поскольку в этой комнате была печь зеленого цвета, он говорил, что идет спать, т. е. «идет к зеленой печи». Заметим то, что великий мыслитель теперь был не в состоянии понять выражения из обыденной жизни. За его столом часто царил мертвая тишина, сменившая бодрую жизнера-



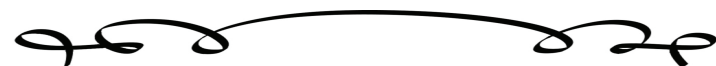
достную приветливость. Ему даже не нравилось, когда оба его гостя начинали за столом общаться друг с другом, а у него была при этом роль молчаливого участника, вовлечь же его самого в разговор стоило больших усилий, поскольку его чуткий ранее слух стал ухудшаться, и он выражал свои даже самые правильные мысли крайне непонятно. Несколько таких примеров не смогут умалить величия этого человека, хотя надо сказать, что рассказ потребует использования некоторых выражений, взятых из самой обыкновенной жизни. Намерение показать, как изъяснялся в конце жизни этот великий человек, позволит оправдать употребление здесь этих слов. Он говорил очень иносказательно, но при всем несовершенстве высказывания все же сохранялась взаимосвязь между словом и обозначаемой им вещью. Когда за столом говорили о высадке французов в Англии, в разговоре были упомянуты море и суша. Кант сказал (не в шутку), что в его тарелке слишком много моря и слишком мало суши, он давал этим понять, что жидкости в ней очень много, а гущи мало. В другой раз, когда ему подали с пудингом печеные фрукты, порезанные на мелкие кусочки разного размера, он сказал, что ему недостает фигуры, определенной фигуры. Имелась в виду форма фруктов.

Необходимо было каждый день общаться с ним, чтобы понимать его косноязычную речь, тем не менее у него еще сохранялось своеобразное чувство юмора: крупица золота все еще поблескивала. Если во время его наибольшей слабости, когда он не мог понятно выразиться о самых обыкновенных вещах, его спрашивали о предметах из области физической географии, естественной истории или химии, он даже после 8 октября давал на удивление определенные и верные ответы.



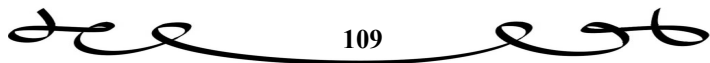
Виды газов и их состав были ему настолько хорошо известны, что и в последние годы его жизни с ним можно было поговорить об этом, получив полное удовлетворением от его разъяснений. Об аналогиях Кеплера он мог рассказать даже будучи совершенно немощным. В последний понедельник его жизни, когда слабость его стала заметна сотрапезникам, что тронуло их до глубины души, и когда он не мог более понять, о чем с ним говорят, я тихо сказал одному из гостей: «Если мне будет позволено перевести разговор на научные темы, я ручаюсь, что Кант все поймет и поддержит беседу». Другу Канта это показалось невероятным. Я сделал попытку и спросил у Канта что-то о берберийцах. Он вкратце рассказал об их образе жизни и при этом заметил, что в слове Алжир «ж» нужно было бы произносить как «г».


Занятия Канта в последние две недели его жизни были не только бесцельными, но и нецелесообразными. Например, шейный платок нужно было много раз подряд снимать и перевязывать заново. То же касалось платка, который он в течение многих лет носил вместо пояса поверх шлафрока. Как только он застегивал последний, тут же начинал нетерпеливо расстегивать, а потом снова застегивал. Было ли это следствием нетерпения, спазмов или выражением боли, чувствовать которую Кант не мог, поскольку его нервы были к ней уже невосприимчивы? Об этом должен судить врач и физиолог, но описание этого нетерпения лишь слабо может передать то усердие, с которым Кант, словно это было важнейшим занятием, расстегивал и застегивал снова и снова свою одежду.



Он перестал узнавать тех, кто был рядом с ним. Сначала это коснулось его сестры, потом — меня, позже всех — его слуги. Эта высшая степень его немощи была для меня весьма болезненна. Избалованный его обычно столь лестными высказываниями, я с трудом мог выносить его нынешнее равнодушное ко мне отношение, хотя и знал, что он не лишил меня своей благосклонности. Но тем радостнее были для меня моменты, когда разум к нему возвращался, печалило лишь то, что они стали редкими. Для каждого из его сотрапезников было и трогательно и грустно видеть его столь беспомощным. Человек, привыкший к постоянной деятельности, избегавший любого комфорта, проводивший большую часть своей жизни на своем стуле, едва мог удерживаться в кресле с подушками. Ссутулившийся, ушедший в себя, как во сне, сидел он за столом, не принимая участия в разговорах собравшегося общества, а в конце даже не претендуя на то, чтобы его развлекали. Он, умевший поддержать поучительный и приятный разговор в самом блистательном обществе благороднейших и ученейших мужей, уже не мог поймать нить разговора об обыкновеннейших вещах и постоянно повторялся. Один ученый из Берлина, будучи здесь проездом, нанес ему визит позапрошлым летом и сказал потом, что видел не Канта, а лишь его телесную оболочку; а ведь каким был Кант тогда, и каким он стал теперь?


И вот наступил февраль, о котором он сказал, как было замечено выше, что в этом месяце, насчитывающем меньше всего дней, и страданий будет меньше. В том феврале он пережил самые большие страдания в своей жизни, но и длился этот месяц для него всего






12 дней. Его тело, о котором он привык говорить, что оно маленькое, как в голодное время, и которое он называл своим бедолагой, на удивление исхудало. Хотя и говорят о смерти, что она не знает пощады, о Канте можно было сказать, что он уже за несколько дней до своей кончины, по сути, был полумертв. Он вел разве что растительное существование, и, тем не менее, случались моменты, когда он мог осознанно воспринимать мир и предаваться рефлексии.

Третьего февраля, казалось, что все его жизненные силы полностью иссякли, потому что с этого дня он ничего больше не ел. Его существование, видимо, подерживалось лишь силой инерции после 80 лет движения. Его врач договорился со мной, что будет посещать его в определенный час, он хотел, чтобы я при этом присутствовал. Не знаю, помнил ли Кант или забыл о том, что я ему сказал, а именно, что его врач великодушно отказался от любого вознаграждения, и даже то, которое ему уже выплатили, он вернул с трогательной запиской. В любом случае, Кант был глубоко проникнут чувством почтения и благодарности по отношению к своему коллеге. Когда тот посетил Канта за девять дней до его смерти, который почти не видел, я сказал ему, что пришел его врач. Кант поднялся со стула, протянул ему правую руку и стал говорить о poste, многократно повторяя это слово с такой интонацией, словно прося помощи. Врач успокоил его тем, что на почте все в порядке, поскольку посчитал его высказывание фантазией. Кант продолжал говорить о «постах, ответственных постах, снова будет много доброты, много благодарности», все это бессвязно, но все с большей теплотой и возрастающим самосознанием. Я тем временем



хорошо понял, что он имел в виду. Он хотел сказать, что врач, занимающий много ответственных постов, особенно в ректорате, чрезвычайно добр, посещая его. «Совершенно верно», — был ответ Канта, все еще стоящего рядом и почти падающего от слабости. Врач попросил его присесть. Кант смущенно медлил, испытывая беспокойство. Я слишком хорошо был знаком с его образом мыслей, чтобы сомневаться в настоящей причине промедления, почему Кант не изменил утомляющего и ослабляющего его положения. Я указал врачу на истинную причину, а именно на деликатную манеру мысли Канта и на его учтивое поведение, и заверил его в том, что Кант тут же сядет, если он как гость займет свое место первым. Врач засомневался в сказанном, но вскоре смог убедиться в верности моего утверждения и был тронут почти до слез, когда Кант, собрав все свои силы, сказал с давшейся ему с трудом твердостью: «Чувство гуманности еще не покинуло меня». «Что за благородный, деликатный и добрый человек!», — воскликнули мы одновременно.


Пришло время идти к столу, и врач нас покинул. Пришел второй сотрапезник. После того, что я услышал, я надеялся, что можно рассчитывать на поистине радостный полдень, но напрасно. Кант в течение нескольких недель находил все блюда безвкусными. Я пытался усилить их вкус с помощью таких безвредных специй, как мускатный орех или корица, добавляя их в блюда. В тот день не помогло ничего, содержимое ложки, которое он пытался съесть, он так и не проглотил, а выплюнул обратно. Даже его любимые легкие блюда, — бисквит, мякиш от булки — не были ему вкусны. Я слышал от него самого в прежние времена,




что некоторые из его знакомых, умерших, собственно, в маразме, хоть и не чувствовали боли, но в течение трех или пяти дней у них не было ни аппетита, ни сна, а потом они тихо заснули, чтобы не проснуться. Я боялся, что и с ним произойдет подобное. В следующую субботу я с сожалением выслушал высказанное вслух сомнение его сотрапезников, что им, вероятно, не придется уже с ним обедать, и согласился с их мнением. В воскресенье, 5 февраля, я обедал вместе с его другом, советником В. Кант был так слаб, что совершенно обессилел. За столом я поправил ему подушки, поскольку он завалился на бок, и сказал: «Теперь всё в полном порядке». “Testudine et Facie”³², — сказал Кант, — как в боевом порядке. Совершенно неожиданным было для нас это выражение, которое стало последней латинской фразой, которую он произнес. Он и сейчас не ел, блюда ожидала та же участь, что и в предыдущие два дня. В понедельник, 6 февраля, он стал еще слабее и безучастнее, ушел в себя, сидел с неподвижным взором, ничего не говоря. Нам не хватало его самого, не принимавшего участия в беседах, казалось, что это лишь тень его сидела среди нас, и все же иногда, когда речь заходила о научных предметах, он подавал знаки своего присутствия.

С этого времени Кант стал гораздо спокойнее и мягче. Ранее, со времен борьбы силы духа и благой природы, с одной стороны, и все ближе надвигающегося возраста, с другой стороны, Кант был пресыщен и жизнью и радостью, не знал, как быть с собой и своим временем, и был не в состоянии понятно изъясняться.

³² Лат.: со щитом и во всем блеске.



Поэтому он получал вещи, которых не желал, но ему приходилось обходиться без тех вещей, которые он бы хотел иметь. Эти недоразумения привели к тому, что его просьбы приобрели грубые интонации, он стал употреблять слова, которые ранее счел бы плебейскими. Человек, выражавшийся в прежние годы даже наедине с собой столь деликатно и гуманно, что даже когда писал заметки (которые едва могли попасть в чужие руки и предназначались ему самому) относительно того, с какой просьбой он хотел бы обратиться к своим друзьям, записывал он их следующим образом: «Попросить господина Н. Н., не будет ли он так любезен» и т. д., — такой человек наверняка заслуживает снисхождения, когда в преклонном возрасте придает своим обращениями несколько резкое, я бы не назвал его грубым, выражение. Только внешне они стали менее отшлифованными, намерение же никогда не содержало в себе злобы. Борьба его природы с возрастом привела к некоторым, хотя и нечастым проявлениям возмущения; теперь же силы его полностью иссякли, он больше не кипятился, как это происходит порой во время химических процессов. Если иногда он и прикрикивал на слугу, то тут же успокаивался. По нему было заметно, что злоба была не свойственна ему меньше всего на свете. Он так странно себя при этом вел, что сразу становилось понятно, что роль эта совершенно ему не привычна. Желание разозлиться, но не уметь сделать это, — такое качество придавало ему особую любезность, поскольку выражение недовольства никак не подходило его кроткому, приветливому лицу, запечатлевшему черты доброты. Его слуга прекрасно знал, как обстояло дело и как ему относиться к




таким проявлениям недовольства. В последние дни жизни Кант не проявлял недовольства, весьма заметно-го в предыдущие месяцы.

Теперь я посещал его трижды в день, приходил к нему также после трапезы, и во вторник, 7 февраля, застал обоих его сотрапезников за столом одних, Кант же находился в постели. Такого раньше не происходило, поэтому случай этот усилил наши опасения, что конец его близок. На следующий день в полдень я все еще не решался оставить его, требующего частого отдыха, без общения, велел подать только суп и предполагал быть его единственным гостем. Я пришел в час дня, решительно заговорил с ним, велел накрывать на стол; он хотя и поднес ложку ко рту, как это было, начиная с 3 февраля, но не удержал ее и поспешил в постель, с которой больше не вставал, словно какая-то потребность заставила его прилечь на некоторое время.

В четверг, 9 февраля, слабость Канта достигла степени, характерной для умирающего, и черты смерти стали отражаться в его облике. Я часто навещал его в течение этого дня, зашел к нему и в десять вечера, Кант был без сознания. Он не отвечал ни на какие вопросы. Я покинул его, не получив подтверждения, что он меня узнает, и препоручил его обоим родственникам и слуге.

В пятницу, в шесть часов утра, я снова пошел к нему. Утром разразилась буря, а ночью выпало много снега. В ту ночь воры ворвались к нему во двор, чтобы проникнуть оттуда к его соседу, золотых дел мастеру. Когда я подошел к его кровати, я пожелал ему доброго утра. Неотчетливо, надломленным голосом он ответил на мое приветствие подобным же образом: «Доброе утро». Я был рад видеть его снова в сознании, спросил,




узнает ли он меня, он ответил: «Да», — протянул руку и нежно погладил меня по щеке. Во время других моих визитов в тот день он больше не приходил в сознание.

В субботу, 11 февраля, он лежал с потухшими глазами и казался спокойным. Я спросил его, узнает ли он меня. Он не смог ответить, но подставил мне губы для поцелуя. Я был глубоко тронут, он еще раз подставил мне свои бледные губы. Я предположил, что ему было важно попрощаться со мной и выразить благодарность за многолетнюю дружбу и помощь. Не припомню, чтобы он достаивал поцелуя кого-либо из своих друзей, во всяком случае, никогда не видел, чтобы он кого-то из них целовал. И меня тоже, кроме одного раза, когда за несколько недель до его смерти, он поцеловал меня и свою сестру. Но мне казалось, что тогда, из-за своей слабости, он не понимал, что делает. Принимая во внимание все обстоятельства, я испытываю искушение расценить это последнее волеизъявление как знак дружбы, которую вскоре должна оборвать смерть. Этот поцелуй был также последним знаком того, что он все еще узнает меня.


Сироп, который ему часто давали, он проглатывал с трудом и шумом, как это часто бывает у умирающих; присутствовали все признаки приближающейся смерти. Жуткую картину представляло смертное ложе великого человека, освещенное слабым светом солнца, который погружался во тьму.

Я желал остаться с ним до конца, и поскольку был свидетелем части его жизни, хотел стать и свидетелем его смерти, так что от его смертного одра меня отрывали только служебные дела. Поскольку и обстоятельство, и посещавший его теперь ежедневно врач говорили




о том, что жизнь его стремится к своему финалу, я решил быть с ним как можно дольше, чтобы протянуть ему руку дружбы как последнее утешение и ею же закрыть ему глаза. Последнюю ночь я провел у его постели. Весь день он пролежал в бессознательном состоянии, но в последний вечер подал внятный знак, что ему необходимо покинуть постель в связи с определенными потребностями; но попытка оказалась безуспешной, и его в последний раз отнесли в постель, которую, пока он отлучался, как можно быстрее привели в порядок. У него уже не хватало сил помочь самому себе. Он не спал, его состояние скорее напоминало обморок, чем слабость. Протянутую ему ложку с сиропом он оттолкнул, но в час ночи он склонился в поисках ложки. Из этого я сделал вывод, что он испытывает жажду, и протянул ему подслащенное вино, разбавленное водой. Он приблизился губами к стакану и, когда от слабости не мог удержать напиток во рту, стал прикрывать рот рукой, пока шумно не проглотил все содержимое. Он просил еще, и я давал ему пить снова и снова, пока освежающий напиток ни придал ему сил, и он нечетко, но понятно для меня произнес: «Хорошо». Это были последние его слова. Несколько раз он сбрасывал одеяло из гагачьего пуха, обнажая тело. Я пытался предотвратить переохлаждение и накрывал его снова. Всё его тело и конечности были уже холодными, пульс — прерывистым.

Двенадцатого, без четверти четыре утра, он лег так, словно готовился к великому акту — приходу своей смерти, и придал телу совершенно неизменное положение, оно оставалось неподвижно вплоть до самой смерти. Пульс больше не прощупывался ни на руках,



ни на ногах, ни на шее. Я проверил каждое место, где можно было услышать биение пульса, и нашел сильную, но часто пропадавшую пульсацию только на левом бедре.


В 10 часов утра его облик заметно изменился, глаза совершенно застыли, взгляд угас, смертельная бледность разлилась по лицу и губам, но нигде не было заметно ни малейшего следа смертной испарины. Действие средств, применявшихся для того, чтобы избежать появления пота, продолжалось вплоть до самой смерти. Около 11 часов, казалось, что последнее мгновение его жизни приблизилось. Его сестра стояла в ногах его постели, ее сын — у изголовья. Чтобы не выпускать Канта из виду и наблюдать за пульсом на бедре, я присел у его постели, поскольку его тело, скрюченное старостью, не позволяло стоя видеть его лицо. Я позвал его слугу, чтобы он стал свидетелем смерти своего господина. Настал момент, когда прекращались жизненные процессы. И тут в комнату вошел замечательный друг Канта советник В., за которым я перед тем велел послать. Дыхание Канта ослабело, утратило обычный ритм, он перестал вдыхать, его верхняя губа едва заметно дернулась, пульс бился еще несколько секунд, но все медленнее и слабее, мгновение — и он больше не прощупывался, механизм остановился, последнее движение машины прекратилось. Его смерть была завершением жизни, а не насильственным актом природы. В тот же момент часы пробили одиннадцать. Все предпринятые попытки найти какие-то признаки жизни ни к чему не привели, всё указывало на его смерть. Ощущение, охватившее меня и его друга, сложно описать словами, оно было единствен-



ным в своем роде. Я не сразу смог избавиться от иллюзии, что его пульс еще бьется, когда нащупываю его рукой.

Не успело последнее дыхание слететь с уст Канта, в комнату зашел врач, зафиксировавший после надлежащего осмотра его смерть. Отправив объявление о смерти Канта, я с тяжелым сердцем поспешил домой, поскольку пришло время заняться своими служебными обязанностями. Пока я их не завершил, полностью прикрытое тело Канта оставалось в постели. Один из соотрапезников Канта и его родственники наблюдали за его телом, проверяя, не появятся ли какие-то признаки жизни. Ко времени моего возвращения таковых не обнаружилось. Когда я пришел, голова его была обстрижена и подготовлена к изготовлению гипсового слепка, который выполнил профессор Кнорр. Строение его черепа было, по общему мнению тех, кто не был посвящен в исследования Галля о тайнах природы, особенно соразмерно. Не только его лицо, но и голова имела такую форму, словно специально предназначалась для того, чтобы пополнить собой коллекцию слепков с черепов, собранную доктором Галлем.

Его тело, облаченное в последние одежды, поместили теперь в его уже бывшей столовой. Огромные массы людей из высших и низших слоев общества потоком текли туда, чтобы посмотреть на брэнную оболочку, которая некогда заключала в себе великий дух Канта. Насколько я стремился раньше, учитывая пожелания Канта, оградить его от назойливого внимания незнакомых ему людей, движимых лишь любопытством, чтобы они не нарушали его покой, — настолько неуместным считал теперь отказать кому бы то ни было в жела-




нии взглянуть на его тело. Все стремились сюда, чтобы использовать последнюю возможность увидеть его и сказать когда-нибудь: «Я видел Канта». Много дней подряд совершалось это паломничество к нему. С утра до позднего вечера комната наполнялись то большим, то меньшим количеством посетителей. Многие приходили дважды или трижды, и за много дней публика так до конца и не насытила свое стремление увидеть его. Поскольку никто не рассчитывал на то, что будет открыт доступ к телу, но так как многие потянулись к его брэнной оболочке, я старался не упустить ничего из того, чего требовали приличия. Я распорядился взять напрокат черное траурное покрывало, чтобы положить на него тело. Мастерская, в которой я одолжил покрывало, получала в день по талеру. К нему прилагалось еще и прекрасное белое покрывало с брабантскими кружевами, и оба старейшины брали всего по гульдену в день, потому что оно предназначалось для Канта.


К ногам Канта один поэт положил стихотворение с посвящением: «Душе умершего Канта». Оно, вероятно, было прекрасным, но ни я, ни кто-либо из моих друзей и знакомых не мог понять столь возвышенный слог. Во всяком случае, оно было написано с добрыми намерениями, и скромность, с которой поэт возложил это стихотворение, делала ему честь.

Совершенно иссохшее тело Канта вызывало удивление, и, по общему признанию, никто еще не видел столь мало подвергшийся тлену труп.

Наилучшее применение нашла и подушка, на которой студенты некогда поднесли Канту стихотворение, она удостоилась особой чести: на ней покоилась голова Канта, а затем я распорядился положить ее к нему во гроб.



Относительно того, как должны проходить его похороны, Кант выразил свою волю на листике форматом в восьмую долю. Он хотел быть погребенным ранним утром, в полной тишине, в сопровождении лишь своих сотрапезников. Я нашел это распоряжение, когда ознакомился с его бумагами. Тогда я открыто высказал ему свое мнение, что это предписание слишком ограничит меня как распорядителя похорон, что обстоятельства, которые невозможно предусмотреть заранее, могут поставить меня с затруднительное положение. Кант не придал никакого значения этой бумажке, разорвал ее и целиком и полностью возложил на меня ответственность относительно устройства его похорон, ничего не предпринимая. Мы больше никогда не возвращались к этому вопросу. Легко было предположить, что студенты не позволят лишиться их возможности отдать Канту почести после его смерти. Это предположение подтвердилось сверх всяких ожиданий. Таких похорон, проходивших с самыми явными знаками высочайшего признания, с помпой и со вкусом, объединившимися в этом чувствовании, жителям Кёнигсберга видеть еще не приходилось. Все газеты, а в особенности специальный листок, уведомяли подробнейшим образом о поминании Канта. Небольшого сообщения достаточно будет для того, чтобы показать, насколько все стремились воздать почести праху Канта. Двадцать восьмого февраля, в два часа дня, все представители высшего сословия, не только города, но и многие из окрестностей, собрались в здешней замковой церкви, чтобы сопроводить брэнную оболочку Канта к месту погребения. Со вкусом одетая для торжественного шествия академическая молодежь, двигавшаяся от университетской пло-



щади, присоединилась к процессии возле замковой церкви. Когда они достигли дома покойного, тело было передано им под звон всех колоколов города. Нескончаемая процессия, в которой вместе шли люди без разграничения сословий, потянулась, сопровождаемая тысячами примкнувших к ней, в Кафедральный собор, служивший церковью университета. Несколько сотен восковых свечей освещали его. Катафалк, покрытый черной материей, производил величественное впечатление. Торжественная, прекрасно исполненная кантата и две произнесенные речи способствовали возвышенному состоянию духа у всех присутствующих. Во время одной из речей куратор академии передал от студентов стихотворение на смерть Канта. После того как торжества закончились, брэнная оболочка Канта, покинутая его душой, была похоронена в университетском склепе, где теперь прах его смешивается с останками отцов-предшественников академии. Да упокоится прах его с миром!

Перевод с немецкого Анжелики Васкиневич



П и с ь м а

Сочинения Иммануила Канта.
Издание Королевской прусской академии.
Берлин, 1902. Т. 12

643

Эреготу Андреасу Кристофу Васянскому

15 сентября 1795

Ваше Высокопреподобие,
не будет ли Вам угодно позволить мне ввести в Ваш дом господина тайного советника фон Гиппеля, наряду с некоторыми иными друзьями, дабы послушать Ваш прекрасный инструмент. Господин фон Гиппель считает наиболее подходящим завтрашний день (среду), он желал бы нанести Вам визит около четырех часов дня, по поводу чего я просил бы получить от Вас благожелательный ответ. С величайшим уважением,

вечный покорный слуга Вашего
Высокопреподобия,

И. Кант

15 сентября 1795


841

Эреготу Андреасу Кристофу Васянскому

12 декабря 1800

К просьбе удостоить меня чести составить мне компанию сегодня за обедом покорнейше присовокупляю вторую, а именно заказать пошив второй шторы из зеленой тафты для моего второго окна справа, с такими же латунными кольцами, поскольку солнце падает наискось справа и не дает мне находиться за моим письменным столом. Возмо-





но, было бы наилучшим вовсе выкинуть старую штору и повесить новую, настолько широкою, чтобы она могла закрыть оба окна сразу, и пропустить слева и справа через кольца длинный шнур. Ваш острый взгляд художника сможет придать этим вещам соответствующий масштаб.

С дружеским доверием и величайшей преданностью,
Ваш покорный слуга И. Кант


Кёнигсберг,
12 декабря 1800

842

от Эрегота Андреаса Кристофа Васянского

19 декабря 1800

Ваше благородие,
имею честь покорнейше сообщить Вам, что катар и сопровождающийся болями в груди кашель помешали мне, начиная уже со вторника, выходить из дому; иначе я непременно с великим удовольствием воспользовался бы, как обычно, Вашей добротой. Что касается пункта о занавешивании окна, я должен ознакомить Ваше благородие со своим только что полученным опытом. Несколько лет у меня во многих помещениях двойные окна, и никогда они не запотевали снаружи, только внутри при большом морозе. Этой зимой я в третий раз заклеил внешние окна, и при этом морозе они еще не запотевали, но обледенели сверху донизу, за исключением небольших мест около свинцовой оправы, где проникает воздух. Я вынужден был снова разрушить результаты кропотливой работы, чтобы в комнате не возникло ложного ослепляющего света. Мой совет, итак, таков: или не затыкать внешнее окно, или произвести попытку с одним окном, которое напротив печи. Поскольку я одиннадцать лет исправно выполнял свои обязанности, не перепоручая службы кому-то другому, в ближайшее воскресенье я бы тоже хотел проповедовать сам, а сегодня защитить уже просту-



женную грудь от проникновения холода. Если я не подхвачу что-то вроде гриппа (поскольку мои сегодняшние телесные ощущения очень напоминают те, которые у меня были в марте при гриппе), то в понедельник до обеда я почту за честь подробно побеседовать с Вашим благородием и еще раз уверить Вас в моем безграничном уважении и глубочайшем почтении, с которым я и остаюсь,

покорнейший слуга и поклонник
Вашего благородия
Васянский

Кёнигсберг,
19 декабря 1800



IMMANUEL KANT
IN SEINEN LETZTEN LEBENSJAHREN

Ein Beytrag zur Kenntniß seines Charakters
und häuslichen Lebens aus dem täglichen Umgange mit ihm,
von E. A. Ch. Wasianski, Diakonus
bey der Tragheimschen Kirche in Königsberg

Königsberg
bey Friedrich Nicolovius
1804






Vorwort

Im Jahre 1789 kam der junge Nikolai Michailowitsch Karamsin, damals ein am Anfang stehender Schriftsteller, der zukünftige Verfasser der „Geschichte des russischen Staates“, in Königsberg an, um dort den großen Philosophen aufzusuchen und „Kant Achtung zu erweisen“. Das beweist, dass Kant schon damals in Russland bekannt war und man eine so starke Verehrung ihm gegenüber empfand, dass der junge Adlige, der zu einer Reise durch Europa aufgebrochen war, den dringenden Wunsch verspürte, den Königsberger Weisen zu besuchen und ihm seine Gefühle auszudrücken.

Die Geschichte seines Treffens und seines Gesprächs mit Kant veröffentlichte Karamsin in der Zeitschrift „Der Bote Europas“. Danach wurden in unserem Lande mehrfach seine „Aufzeichnungen eines russischen Reisenden“ herausgegeben, die das Interesse an den Werken und der Persönlichkeit des großen Denkers förderten. Die Beschäftigung mit der Philosophie Kants wurde ein bedeutender Faktor der russischen Philosophie und Literatur wie überhaupt der ganzen russischen Kultur.

Besonders viele Kant gewidmete Veröffentlichungen begann man in unserem Land in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts herauszugeben, im Anschluss an die umfangreichen Feierlichkeiten, mit denen der 250. Geburtstag Immanuel Kants begangen wurde. In allen Biographien Kants, die auf Russisch veröffentlicht wurden, sind beständig Angaben enthalten, die aus den Erinnerungen E. A. Ch. Wasianskis geschöpft wurden, obwohl das Buch „Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren“ selbst nicht übersetzt worden war.

Die Veröffentlichung dieser Erinnerungen, zudem zweisprachig auf Russisch und auf Deutsch, stellt ohne Zweifel ein großes Ereignis des wissenschaftlichen und darüber hinaus des kulturellen Lebens dar. Die Fachleute können beide Texte benutzen, was große Bedeutung für die wissenschaftliche Arbeit besitzt. Noch wichtiger ist aber, dass zahlreiche Leser, Menschen verschiedenen Alters, eine authentische Quelle er-




halten, die es ihnen erlaubt, diesen edelmütigen, hochherzigen und gleichzeitig bescheidenen Menschen so zu begreifen, wie Wasianski ihn beschreibt.

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass die Veröffentlichung der Erinnerungen Wasianskis in Kaliningrad geschieht, das im Bewusstsein unserer Landsleute vor allem mit dem Namen des großen Philosophen verbunden ist. Jeder Besucher Kaliningrads beeilt sich, dem Grabe Kants seine Verehrung zu erweisen, das Kant-Museum im Dom aufzusuchen, und er bemüht sich, Literatur über das Leben und die Tätigkeit des „großen Sohns der alten Stadt“ zu erwerben.

Natürlich interessieren sich nicht nur die Gäste unserer Stadt für die Biographie und die Werke Kants. Die Lehrer der philosophischen Fakultät der Baltischen Föderalen Kant-Universität und die Mitarbeiter des Kant-Instituts, das zur Universität gehört, halten ständig Vorlesungen über den großen Denker für die Bevölkerung der Stadt, für Lernende in den Schulen, Gymnasien, Lyzeen und Colleges und stellen dabei ein großes Interesse der Zuhörer fest. Die Veröffentlichung des Buchs von Wasianski erweitert die Möglichkeiten der Kaliningrader, sich mit einigen lehrreichen Seiten seiner Biographie bekanntzumachen.

Augenscheinlich muss man auch etwas über Wasianski selbst sagen. Ehregott Andreas Christoph Wasianski wurde am 3. Juli 1755 in Königsberg geboren. Er war Schüler derselben Lehranstalt, die auch Kant absolviert hat, des Friedrichkollegs (im Jahre 1810 wurde diese Schule in ein Gymnasium umgewandelt). Die Schule befand sich auf dem Kneiphof unweit des Doms. Am 17. September 1772 wurde Wasianski Student der Königsberger Universität. Er hörte Vorlesungen Immanuel Kants, die in seiner Seele Spuren hinterließen.

Im Jahre 1786 beendete Wasianski das Theologiestudium und wurde Diakon und 1808 Pfarrer an der Tragheimschen Kirche. Zur Erinnerung an diesen ungewöhnlichen Menschen hing in der Tragheimschen Kirche sein Porträt, das infolge des Bombenangriffs der englischen Luftwaffe auf Königsberg im August 1944 ebenso wie die Kirche verloren gegangen ist.




Ehregott Andreas Christoph Wasianski starb am 17. April 1831 in Königsberg.

Wie Wasianski selbst in seinen Erinnerungen mitteilt, verfolgte Kant das Schicksal seiner Studenten und lud Wasianski, als er ihn bei Freunden traf, zu sich zum Mittagessen ein. Nach und nach hielt sich der gutherzige, fürsorgliche und verständige Diakon immer öfter im Hause des großen Philosophen auf. Er verstand sich auf alles und besserte schnell das eine oder andere Zerbrochene aus, z. B. eine stehen gebliebene Uhr. Da er nicht weit entfernt wohnte, konnte er, falls notwendig, mehrmals am Tag zu Kant kommen, und allmählich vertraute ihm der Philosoph die Führung seines Haushalts und die Erledigung seiner Finanzangelegenheiten an.

Nach dem Tode Kants im Jahre 1804 veröffentlichte Wasianski seine Erinnerungen an den großen Denker. Mit Liebe und tiefer Verehrung erzählte er von Kant, teilte Einzelheiten mit, erwähnte seine Gewohnheiten und Besonderheiten der häuslichen Lebensweise des Philosophen sowie des damaligen Lebens in Königsberg. Diese Erinnerungen sagen auch viel über Wasianski selbst und darüber, dass der kategorische Imperativ Kants für ihn eine Anleitung zum Handeln geworden war. Seine Handlungsweise und der Ton seiner Erzählung rufen Vertrauen und Hochachtung für den Autor hervor.

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die Herausgabe der Erinnerungen E. A. Ch. Wasianskis in russischer Sprache dank Herrn Gerfried Horst möglich wurde, dem Vorsitzenden des Vereins „Freunde Kants und Königsbergs e. V.“ (www.freunde-kants.com) und Inhaber der Rechte an der russischen Übersetzung. Es ist hervorzuheben, dass er die Übereinstimmung des deutschen Textes der Erinnerungen Wasianskis sorgfältig mit der Erstausgabe 1804 verglichen und Fehler der nachfolgenden Ausgaben verbessert hat. G. Horst, zusammen mit Professor Werner Stark (Marburg) und der Übersetzerin, der Dozentin an der Kant-Universität Angelika Vaskinevich, hat auch die Fußnoten und Kommentare verfasst, was die vorliegende Ausgabe noch wertvoller macht und sie dem Leser näherbringt.



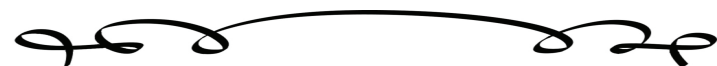
Damit der zeitgenössische Leser sich besser vorstellen kann, wie der große Philosoph sich zu Wasianski verhielt, hat G. Horst dem Buch die Texte von zwei Briefen des Philosophen beigelegt, die er seinem früheren Studenten und Freund schrieb, sowie dessen Antwortbrief. Diese Briefe sind erstmals ins Russische übersetzt worden.

Zu erwähnen ist außerdem, dass die Veröffentlichung dieses Buches durch Mittel des Kant-Fonds des Kaliningrader Gebiets ermöglicht worden ist, dank der Initiative des Direktors des Königsberger Doms, Herrn Igor Odinzow.

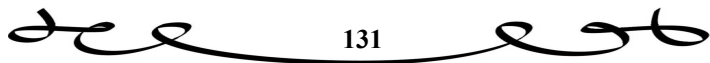
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass Wasianski kein berufsmäßiger Schriftsteller war. Er verfasste die Erzählung einfach in der kunstlosen Sprache seiner Zeit, des 18. Jahrhunderts. In den vergangenen Jahrhunderten hat sich die deutsche Sprache verändert, und auch wir sprechen nicht mehr so, wie sich der Zeitgenosse Wasianskis G. R. Derschawin ausdrückte. Die Übersetzerin A. Vaskinevich hat sich jedoch bemüht, das „Aroma der Epoche“ zu bewahren und dem Leser die Atmosphäre einer vergangenen Zeit zu übermitteln. Deshalb mag dem zeitgenössischen Leser vielleicht der eine oder andere Satzbau, der Gebrauch selten erklingender Worte ungewöhnlich erscheinen, doch erlaubt ihm das, die Stimme eines Menschen des 18. Jahrhunderts zu hören, als selbst die Zeit langsamer verfloss, als die Menschen ausführlicher und empfindsamer waren und als man erst anfang, Bücher zu schreiben über den großen Denker Immanuel Kant.


Somit liegt vor Ihnen, lieber Leser, die aufrichtige und gut-herzige Erzählung eines Kant nahestehenden Menschen, der mit ihm über lange Zeit hinweg verkehrte und in den letzten Monaten und Tagen seines Lebens für den großen Philosophen sorgte.

*I. Kusnezowa,
Doktor der Philosophie,
Professor an der Baltischen
Föderalen Immanuel-Kant-Universität*




Immanuel Kant, ordentlicher akademischer Lehrer der Logik und Metaphysik zu Königsberg, war nicht allein seinem Zeitalter verehrungswürdig, sondern wird auch bei der spätesten Nachwelt unvergeßlich bleiben und in dem Verzeichnisse großer Männer unstreitig seinen Platz behaupten. Man mag ihn als Gelehrten, mit Hinsicht auf den großen Reichtum seiner erworbenen Kenntnisse in den meisten Fächern der oft so sehr verschiedenen Wissenschaften; oder als Selbstdenker, mit Rückblick auf die Anzahl und Gründlichkeit seiner herausgegebenen Werke; oder als Mensch, in Absicht auf seinen wahrhaft edeln, großmütigen, menschenfreundlichen und doch so bescheidenen Charakter; oder endlich als Freund und Gesellschafter mit Rücksicht auf seinen feinen, gefälligen, angenehmen, unterhaltenden und humanen Umgang betrachten, so muß er jedem, den Eifersucht und Selbstliebe nicht blenden, oder Animosität und Parteilichkeit in seinem Urteil über ihn nicht mißleiten, ein Gegenstand der Bewunderung und Verehrung bleiben. Was ihn als Gelehrten und Selbstdenker betrifft, so wird es nicht an Männern fehlen, die ihn von diesen Seiten nach Verdienst zeichnen werden. Alles Große begeistert, zieht jeden, der Sinn fürs Wahre und Gute hat, unwiderstehlich an sich, läßt ihn mit Wohlgefallen bei ausgezeichneten, hervorragenden Gegenständen verweilen und erlaubt nicht, die erregten Empfindungen in sich zu verschließen; die volle Brust fühlt den Drang sich mitzuteilen, und gibt reichlich und gern alles hin, was sie empfing, um Teilnehmer zu gewinnen. Gewiß wird dieses auch bei *Kant* der Fall sein, dessen Tod man nicht einmal abwartete, sondern von dem man schon bei seinem Leben eine Biographie herausgab, von der ich nicht entscheiden mag, ob *Kant* mit ihr habe zufrieden sein können, oder ob seine Verehrer das in ihr ge-





funden haben, was sie wünschten. Alle seine Freunde wissen aber, daß er bei der davon erhaltenen Nachricht sich sehr unwillig darüber äußerte.


Bei der Darstellung *Kants*, als Gelehrten und Selbstdenker, sind die Besorgnisse vor dem Verzeichnen des Gemäldes nicht so erheblich, indem seine Schriften eine sehr ergiebige Quelle sind, aus der sein Biograph schöpfen kann. Ist dieser vertraut mit dem Fache, dem *Kant* sich widmete; strebte er selbst, die ersten Gründe des menschlichen Wissens zu erforschen; zeichnet er sich als Selbstdenker aus; ist er unparteiisch genug, *Kants* Verdienste um die Wahrheit anzuerkennen; kennt er die Vorarbeiten des Zeitalters, in dem *Kant* sich ausbildete, und vermag er den Umfang des menschlichen Wissens zu würdigen; so darf man nicht befürchten, daß ihm das Gemälde des großen Gelehrten und seltenen Selbstdenkers mißraten werde. Ganz anders verhält es sich mit dem Charakter, mit der Denk- und Handlungsart eines merkwürdigen Mannes und Schriftstellers. Seine Schriften enthalten oft nur schwache Spuren davon, und wer kann dafür bürgen, daß Verstand und Herz nicht im Widerstreit miteinander gestanden haben? Wer weiß nicht, daß Schriftsteller oft das Gute vortrefflich darstellen und doch schlecht handeln? Der Charakter eines Menschen kann nur durch sorgfältiges, unparteiisches, am sichersten aber durch tägliches Beobachten seiner verschiedenen Launen und kleinsten Gewohnheiten entziffert werden. Die anscheinend geringfügigsten können bisweilen viel Licht über einen Mann verbreiten und Fingerzeige auf seine Originalität geben. Einzelne Äußerungen sind indessen dazu oft nicht hinlänglich, und nur ihre ganze Summe gestattet, entscheidende und befriedigende Resultate aus ihnen zu ziehen. Gehört dazu aber nicht eine genauere und längere Bekanntschaft, ja ein vertrauterer Umgang, zu dem nicht jeder ge-



langen kann? Man muß den Menschen nicht nur in Lagen, wo er es weiß, daß er beobachtet wird, handeln sehen, sondern auch in solchen, wenn er sich ohne Zeugen glaubt und ohne Rücksicht auf Beobachter, sich den natürlichen Ergießungen seines Herzens überläßt. Wie sehr verengt sich nun der Kreis derer, die mit Zuverlässigkeit etwas über den Charakter eines merkwürdigen Mannes sagen können!


Mit der Charakteristik *Kants* hat es nun eben die Bewandtnis, wie man es zum Teil aus den Anekdoten abnehmen kann, die hie und da in öffentlichen Blättern noch bei seinem Leben erschienen, und die zu sichtbar das Gepräge der Verstümmelung an sich tragen, weil man sie entweder aus unzuverlässigen Quellen schöpfte, oder durch die Tradition vergrößerte, oder weil der Erzähler manchmal seine eignen Einfälle, Denkweisen und Meinungen in sie übertrug. An solchen Charakterzügen *Kants* wird es auch in der Zukunft nicht fehlen, und höchst vermutlich wird die gelehrte Welt mit mancher Sammlung derselben beschenkt werden.

Besorgnis vor solchen Erscheinungen und der Wunsch einiger Freunde, etwas ganz Zuverlässiges über *Kants* letzte Lebensjahre von einem täglichen Augenzeugen zu lesen, haben mich veranlaßt, diese wenigen Bogen aufzusetzen. Ein Vorsatz früherer Zeiten ist esnicht. Als sich aber in den letzten Tagen seines Lebens allerlei widersprechende Gerüchte über den großen Mann verbreiteten, die ihn zum Teil verkleinlichten und mich zu mündlichen Berichtigungen nötigten; so leuchtete es mir bei meiner genauem Bekanntschaft mit ihm als eine fast unerläßliche Pflicht ein, meine Beobachtungen und Erfahrungen auch schriftlich mitzuteilen, und dadurch manchen Notizen vorzubeugen, durch die selbst *Kants* Verehrer hätten getäuscht werden können. Würde es nicht alle seine Freunde kränken, wenn menschl-




che Schwächen des großen Mannes von unberufenen Anekdotenkrämern als Flecken seiner reinen Seele und seines unbescholtenen Charakters dargestellt werden sollten? Würde der selbstsüchtige Witzling sich nicht vielleicht mit größerer Schadenfreude an den toten Löwen wagen, wenn er gar nicht besorgen dürfte, daß ein anderer, der *Kant* genauer beobachtete und kannte, als er, den Ungrund seiner Behauptungen aufdecken könnte?

Vielleicht kann auch eine Darstellung *Kants* in seiner häuslichen Verfassung, im engen Kreise seiner Vertrauten, als Wirt, im Benehmen gegen seine Dienstboten, und selbst, als er schon hinfalliger Greis geworden, zu manchen anthropologischen und psychologischen Betrachtungen Anlaß geben. Überdem weiß ich aus Erfahrung, daß besonders Durchreisende sich angelegentlich nach seinen kleinsten Gewohnheiten und häuslichen Verfassungen erkundigten. Alles dieses wird mich hoffentlich rechtfertigen, wenn ich den Mann, der auf der großen Bühne der gelehrten Welt eine Hauptrolle und mit beinahe allgemeinem Beifalle spielte, ohne alle Schminke und entkleidet von allem Prunk, gleichsam nur in seinem Negligee darstelle. Einen Nachteil von seinem Auftreten im häuslichen Gewände darf ich wenigstens nicht befürchten, denn er war in jedem liebenswürdig. Gewiß gibt es auch einige, die *Kant* näher als bloß aus seinen Schriften kennen zu lernen und ihn von mehr als einer Seite dargestellt zu sehen wünschten, um nicht bloß den großen Mann, sondern auch den Menschen in seinen Menschlichkeiten kennen zu lernen. Der Maler, der die Züge seines Originals sich recht eindrücken will, beobachtet dasselbe unter mehreren Situationen, in verschiedenen Attitüden, übersieht dabei auch die dunklere Seite nicht, um ja alles recht zu zeichnen, und nicht etwa durch Weglassung des Schattens ein widriges chinesisches Gemälde zu liefern,



oder durch eine zu starke Auftragung desselben sein Bild zu dunkel und finster zu kolorieren.

Auch *Kant* hatte seine Schwachheitsschatten als Mensch, die aber seinen lichten Seiten nichts von ihrer Klarheit und Sichtbarkeit benehmen konnten und werden. Die mehresten waren nicht seine Schuld, sondern Folgen der menschlichen Natur, wenn sie ein hohes Alter erreicht, denen mithin weder seine Geistesgröße noch der hohe Grad seiner Kraft der Ausbildung, ja selbst seine Herzensgüte nicht den zwar langsamen, aber doch mächtigen Eintritt verwehren konnte. Er hatte 80 Jahre in seinem Lebenskreis gewandelt; was Wunder also, wenn er im Zirkel endlich an den Punkt zurückkam, von dem er ausgegangen war! Auch in seiner Schwachheit behielt er, aus dem so manche Strahlen des Lichts sich verbreitet hatten, seinen Glanz, wie die Sonne in der Verfinsterung ihr eigenes Licht, wenn sie es verloren zu haben scheint, und verlor ihn nicht, wie der abnehmende Mond sein erborgtes Schimmerlicht verliert. Weit entfernt etwas einer Biographie von *Kant* ähnliches zu liefern, sollen diese Blätter seinen Biographen keinen Eintrag tun, sondern sich nur darauf einschränken, das, was andere bei größerer Einsicht, Geschicklichkeit und Kenntniss von *Kant* doch nicht so genau wissen können, und auch das, was sie von ihm anzuführen, vielleicht unter ihrer Biographenwürde halten möchten, darzulegen. Dem Gelehrten kann manches von dem, was ich mitteilen will, gleichgültig scheinen, dagegen werden viele seiner abwesenden Freunde, die ihn in den letzten Jahren seines Lebens nicht sahen, und überhaupt ein Teil des Publikums angelegentlich wünschen, daß auch selbst dies unbedeutend scheinende nicht verloren gehe. Und wollte ein Biograph mit einer gewissen Selbstverleugnung und Aufopferung seiner höheren Kunst sich auch auf die Anführung spezieller Umstände, kleiner




Gewohnheiten und Äußerungen *Kants* einlassen, wo würde er sie finden, wenn sie ihm nicht einer lieferte, der mit *Kant* auf dem Fuß gelebt hätte, wie ich es in den letzten Zeiten um ihn zu sein Gelegenheit gehabt.

Aus diesem Gesichtspunkte wünsche ich daher, diese Blätter beurteilt zu sehen. Ihr Wert besteht in der reinsten und unverfälschtesten Wahrheit, von der keine Schminke, keine Übertreibung mich ableiten soll, indem ich sorgfältig über mich wachen werde, daß auch wider meinen Willen sich nicht etwas Unwahres einschleiche. Überdem schreibe ich vor den Augen von Männern, deren einige ihn wöchentlich ein- auch mehrmals sahen und mit Scharfblick beobachteten, und deren Rüge unwahre Behauptungen nicht entgehen würden. Aber auch diese werden wissen, daß manche Äußerungen *Kants* in den letzten Jahren seines Lebens, und zu verschiedenen Zeiten verschieden ausfielen, und daß er mir manches mittheilte, was er anderen verschwie.

Interessanter hätte man zwar diese Blätter machen können, wenn man in mancher Anekdote von *Kant* diesen oder jenen Umstand hätte verschönern oder durch Übertreibung heben wollen. Allein das Anziehende soll stets der Wahrheit weichen, und lieber mag er- steres als diese fehlen, wenn gleich diese Strenge in Mitteilung der Wahrheit mir notwendig machen wird, meine stille Zurückgezogenheit zu verlassen, und mehr, als ich wünschte, vor dem Publico zu erscheinen.


Mancher edle Zug des Herzens *Kants*, manche seiner dankbaren Äußerungen gegen mich müßten verloren gehen, wenn ich mich des Sprechens von mir selbst zu sehr enthielte. Verkennen aber würde man mich, wenn man solche Fälle mir für Eitelkeit anrechnen, und sie aus einer kleinlichen Begierde, mich an den großen Mann anzuschließen und bei



solcher Gelegenheit etwas von seiner Zelebrität zu gewinnen, herleiten wollte. Fern sei das von mir; *Kant* hatte mir sein Zutrauen geschenkt. Ob ich mich desselben würdig gemacht; ob ich getan habe, was man in den Umständen, in der Verbindung, in der ich mit ihm zu stehen das Glück hatte, und in einer solchen Lage zu tun schuldig ist, werden *Kants* noch lebende Freunde beurteilen. Nach ihren bisherigen Äußerungen darf ich auf ihren Beifall rechnen, da ich ihnen ihre Meinung über meine Vorkehrungen abgehört und ihre anwendbare Vorschläge und Verbesserungen, redlich und dankbar befolgt habe.


Nun zur Sache und zuerst die Frage: Wie kam ich an *Kant*?

Meine Bekanntschaft mit ihm entstand nicht in seiner letzten Lebenszeit und mit ihm vertraut zu werden, dazu gehörte mehr als ein Jahrzehend. In den Jahren drei- oder vierundsiebzig (genau weiß ich es nicht) wurde ich sein Zuhörer und später hin sein Amanuensis; durch welches letztere Verhältnis ich dann auch mit ihm in eine nähere Verbindung kam, als seine übrigen Zuhörer. Er gestattete mir unentgeltlich ohne meine Bitte das Besuchen seines Hörsaals. Im Jahr 1780 verließ ich die Akademie und wurde Prediger. Ob ich nun gleich in Königsberg blieb, so schien ich doch von *Kant* in meiner neuen Kleidung, wo nicht ganz vergessen, so doch wenigstens nicht mehr gekannt zu sein. Im Jahre 1790 traf ich wieder mit ihm auf der Hochzeit eines der hiesigen Professoren zusammen. Bei Tisch unterhielt *Kant* sich mit der ganzen Gesellschaft; als aber nach dem Essen jeder sich einen Gesellschafter zum Gespräch wählte, setzte er sich freundschaftlich zu mir und sprach mit mir über meine damalige Liebhaberei, die Blumistik, mit vieler Sachkenntnis, und zeigte mir zu meinem größten Befremden eine vollkommene Bekanntschaft mit meiner




ganzen Lage; erinnerte sich dabei der früheren Zeiten, äußerte seine wohlwollende Teilnahme an meiner Zufriedenheit mit meinen Umständen und zugleich den Wunsch, daß, wenn es meine Zeit erlaubte, ich ihn bisweilen zum Mittage auf seine Einladung besuchen möchte. Als er bald darauf die Gesellschaft verlassen wollte, schlug er mir vor, daß ich, da ich einen Weg mit ihm zu machen hatte, mit ihm nach Hause fahren möchte. Ich nahm diesen Vorschlag an, begleitete ihn, wurde in der nächsten Woche zu ihm eingeladen, und mußte zugleich bestimmen, welcher Tag in der Woche für mich der bequemste sei, seine ferneren Einladungen anzunehmen. Unerklärbar war mir *Kants* zuvorkommendes Benehmen gegen mich. Anfangs vermutete ich, daß irgend einer meiner gütigen Freunde ihm mehr Gutes von mir gesagt hätte, als ich verdiene; aber die spätere, in seinem Umgange gemachte Erfahrung, belehrte mich, daß er sich oft nach dem Befinden seiner ehemaligen Zuhörer erkundigte und sich herzlich freute, wenn es ihnen wohlging. Er hatte also auch mich nicht ganz vergessen.

Diese erneuerte Bekanntschaft mit ihm traf beinahe mit dem Zeitpunkte zusammen, in welchem er seiner häuslichen Einrichtung eine veränderte Gestalt gegeben hatte. Bis dahin hatte er an einer Table d'hote gegessen; jetzt fing er seine eigene Haushaltung an und lud täglich zwei seiner Freunde, und bei irgendeiner kleinen Fete fünf derselben ein; denn er beobachtete die Regel genau, daß seine Tischgesellschaft, sich selbst mitgerechnet, nicht unter der Zahl der Grazien und nicht über die Anzahl der Musen sein müsse. Überhaupt hatte seine ökonomische Einrichtung und besonders sein Tisch etwas Eigentümliches, Originelles, und in manchen Stücken von der Alltagsitte und dem Zwange des gewöhnlichen konventionellen Tons abweichendes, doch ohne Vernachlässigung des Wohlstandes, der



wohl bisweilen in Gesellschaften, worin Damen fehlen, etwas zu leiden pfllegt. — Wenn das Essen in Bereitschaft war, trat *Lampe*, die Türe mit einem gewissen Tempo öffnend, mit den Worten ins Zimmer: „*die Suppe ist auf dem Tische*“. Diesem Zuruf wurde schnelle Folge geleistet, und der auf dem Wege nach dem Speisezimmer gewöhnliche Diskurs über die Witterung des Tages wurde beim Anfange des Tisches noch fortgesetzt. Von den wichtigsten Ereignissen des Tages, von Siegen und selbst von Friedensschlüssen durfte nicht eher, als am Tische gesprochen werden. *Kant* ging mit den Gegenständen der Unterhaltung haushälterisch um und mochte gern einen nach dem andern debattiert sehen. Seine Studierstube war nie der Ort, wo über politische Gegenstände gesprochen wurde. Sobald er sich aber an den Tisch gesetzt hatte, sah man es ihm ganz deutlich an, daß er sich nach der vielen Arbeit und Anstrengung auf Speisen und Unterhaltung freue.


Das: „*Nun, meine Herren*“, wenn er sich auf den Stuhl setzte und die Serviette nahm, zeigte unverkennbar, wie Arbeit die Speisen würze. Sein Tisch war mit drei Schüsseln, einem kleinen Nachtschisch und Wein besetzt. Jeder legte sich seine Speisen selbst vor und das sogenannte Komplimentieren dabei war ihm so unangenehm, daß er es fast jedesmal, wiewohl mit Bescheidenheit, rügte. Er empfand es unangenehm, wenn man wenig aß und hielt es für Zierelei. Der erste in der Schüssel war ihm der angenehmste Gast; denn desto eher kam die Reihe an ihn zum Zulangen. Er suchte jede Verzögerung dabei zu vermeiden; da er schon vom frühen Morgen an gearbeitet und noch nichts bis zum Mittag genossen hatte. Er konnte daher besonders in den letzten Zeiten mehr aus einer Art von Übelbefinden, als wirklichem Hunger, kaum die Zeit erwarten, bis sein letzter Gast kam.



Der Tag, an dem man bei ihm aß, war ein Festtag für seine Tischfreunde. Angenehme Belehrungen, doch ohne daß er sich das Ansehen eines Lehrers gegeben hätte, würzten das Mahl und verkürzten die Zeit von 1 Uhr bis 4, 5, öfters auch später, sehr nützlich und ließen keine Langeweile zu. Er duldete keine Windstille, mit welchem Namen er die etwanigen Augenblicke benannte, in denen das Gespräch minder lebhaft war. Er wußte stets allgemeine Unterhaltung zu schaffen, jedem seine Liebhaberei abzumerken und mit Teilnahme davon zu sprechen. Vorfälle in der Stadt mußten schon sehr merkwürdig sein, wenn an seinem Tische ihrer Erwähnung geschehen sollte. Fast nie hatte die Unterhaltung auf Gegenstände der kritischen Philosophie Bezug. Er verfiel nicht in den Fehler der Intoleranz gegen diejenigen, die mit ihm kein gleiches Lieblingsstudium hatten, wie dieses wohl bei manchem anderen Gelehrten der Fall sein möchte. Seine Unterhaltung war populär dargestellt, daß ein Fremder, der seine Schriften studiert hätte, dem er aber von Person unbekannt geblieben wäre, aus seinem Gespräche wohl schwerlich hätte schließen können, daß der Erzählende *Kant* sei. Lenkte sich das Gespräch auf Gegenstände der Physiologie, Anatomie, oder die Sitten gewisser Völker, wurden dabei solche Dinge erwähnt, die der Leichtsinn wohl zur Schlüpfrigkeit hätte mißbrauchen können, so wurde davon nur mit einem Ernste gesprochen, der es verriet, daß es nicht nur bei ihm der Fall sei, sondern daß er es auch von seinen Tischfreunden als sicher voraussetzte: *Sunt castis omnia casta.*³³


Bei der Wahl seiner Tischfreunde beobachtete er außer den sonst gewöhnlichen Maximen unverkennbar noch zwei andere. Zuerst wählte er sie aus verschiedenen Ständen:

³³ Latein: Den Reinen ist alles rein.




Dienstmänner, Professoren, Ärzte, Geistliche, gebildete Kaufleute, auch junge Studierende, um der Unterhaltung Mannigfaltigkeit zu verschaffen. Zweitens waren seine gesamten Tischfreunde jüngere Männer wie er, oft sehr viel jünger. Er schien bei letzteren die doppelte Absicht zu haben: durch die Lebhaftigkeit des kraftvollem Alters mehr Jovialität und heitere Laune in die Gesellschaft zu bringen, sodann auch so viel als möglich, sich den Gram über den früheren Tod derer, an die er sich einmal gewöhnt hatte, zu ersparen. Bei gefährlichen Krankheiten seiner Freunde war er daher äußerst besorgt und ging in dieser Ängstlichkeit so weit, daß man hätte glauben sollen, er würde ihren Tod nicht mit Fassung ertragen. Oft ließ er sich nach ihrem Zustande erkundigen, erwartete mit Ungeduld die Krisis der Krankheit und wurde sogar in seinen Arbeiten darüber gestört. Sobald sie aber gestorben waren, zeigte er sich gefaßt, beinahe möchte man sagen gleichgültig. Er betrachtete das Leben überhaupt, besonders die Krankheit, als einen steten Wechsel, von dem Nachricht einzuholen es der Mühe lohnte; den Tod aber als permanenten Zustand, von dem eine Nachricht statt aller hinlänglich sei, wobei sich nun nichts mehr ändern ließe. Auch arbeitete er nun ungestört fort, weil alle seine Besorgnisse ihr Ende erreicht hatten. Der letztem Maxime und Vorsichtsregel bei der Wahl seiner Tischfreunde ungeachtet, verlor er doch manchen derselben durch den Tod. Besonders stark wirkte auf ihn bei aller Fassung der Verlust des Inspektor *Ehrenboth's*, eines jungen Mannes von durchdringendem Verstande und wahrer, ausgebreiteter Gelehrsamkeit, den er überaus hochschätzte.

Die Gegenstände der Unterhaltung waren größtenteils aus der Meteorologie, Physik, Chemie, Naturgeschichte und Politik entlehnt, besonders aber wurden die Geschichten des Tages, wie sie uns die Zeitungen lieferten, scharf beurteilt.




Einer Nachricht, der Tag und Ort fehlte, sie mochte übrigens so wahrscheinlich sein, als sie wollte, traute er nie, und hielt sie nicht der Erwähnung wert. Sein weitreichender Scharfblick in der Politik drang sehr tief ins Innere der Ereignisse, so daß man oft eine, mit den Geheimnissen der Kabinette bekannte diplomatische Person reden zu hören glaubte. Zur Zeit des französischen Revolutionskrieges warf er manche Vermutungen und Paradoxen hin, besonders in Absicht auf militärische Operationen, die so pünktlich eintrafen, wie jene seine große Vermutung, daß es zwischen dem Mars und Jupiter keine Lücke im Planetensystem gäbe, deren volle Bestätigung er bei Auffindung der Ceres durch Piazzi in Palermo, und der Pallas durch D. Olbers in Bremen noch erlebte. Diese Auffindungen machten große Sensation auf ihn, er sprach oft und viel von ihnen, doch ohne zu erwähnen, daß er dieses schon längst vermutet hätte. Merkwürdig war seine Meinung: daß Bonaparte nicht die Absicht haben könne, in Ägypten zu landen. Er bewunderte die Kunst desselben, mit der er seine wahre Absicht, in Portugal landen zu wollen, so sehr zu verschleiern suche. Wegen des großen Einflusses Englands auf Portugal betrachtete er dieses Land als eine englische Provinz, durch deren Eroberung England der empfindlichste Streich beigebracht werden könnte, indem dadurch die Einfuhr englischer Manufakturwaren in Portugal und die Ausfuhr des Portweins, dieses unentbehrlichen Lieblingsgetränks der Engländer aus Portugal verhindert werden müßte. Gewohnt, manche Tatsachen a priori zu demonstrieren, bestritt er die Landung in Ägypten auch da noch, als die Zeitungen sie schon als glücklich vollendet ankündigten und hielt dieses Unternehmen für völlig unpolitisch und von keiner langen Dauer. Seine Freunde waren nachgiebig genug, nicht zu widersprechen, und der Erfolg der ganzen Expedition war eine ziem-




liche Rechtfertigung für ihn. Es wurde über die neusten Erfindungen und Ereignisse debattiert, die Gründe für und wider abgewogen und dadurch das Tischgespräch lehrreich und angenehm gemacht. *Kant* zeigte sich aber nicht bloß als unterhaltender Gesellschafter, welches er besonders in früheren Jahren ganz vorzüglich war, sondern auch als gefälligen und liberalen Wirt, der als solcher keine größere Freude kannte, als wenn seine Gäste froh und heiter, an Geist und Leib gesättigt, nach einem Sokratischen Mahle seinen Tisch verließen.

Gleich nach Tisch ging *Kant* der Regel nach aus, um sich Bewegung zu machen, die ihm bei einer sitzenden Lebensart zur Erhaltung seiner Gesundheit so notwendig war. Doch nahm er, und das absichtlich, nie einen Gesellschafter bei seinen Spaziergängen mit. Von seinen beiden Ursachen dazu ist die eine leichter zu erraten, als die andere. Er wollte seinen Ideen im Freien auch frei nachhängen, oder nach Beendigung seiner Unterhaltung mit dem Menschen sich mit irgendeiner Beobachtung in der Natur beschäftigen. Die zweite Ursache ist eigner: er wollte nämlich nur durch die Nase respirieren, und die atmosphärische Luft nicht so rau und unerwärmt geradezu in die Lungen ziehen, sondern sie erst einen weitem Umweg machen lassen. Von dieser Maßregel, die er allen seinen Freunden empfahl, versprach er sich Vorbeugung des Hustens, des Schnupfens, der Heiserkeit und anderer rheumatischen Zufälle, und das vielleicht nicht ganz ohne allen Erfolg; denn er wurde wenigstens höchst selten von diesen Krankheiten befallen. Auch bei mir hat die gelegentliche, obgleich nicht ängstliche Beobachtung dieser Vorschrift, diese Übel seltner gemacht. Nach 6 Uhr setzte er sich an seinen Arbeitstisch, der ein ganz gewöhnlicher, durch nichts sich auszeichnender Haustisch war und las bis zur Dämmerung, In dieser dem Nach-




denken so günstigen Zeit dachte er dem Gelesenen, wenn es eines besondern Nachdenkens wert war, nach; oder widmete diese ruhigen Augenblicke dem Entwürfe dessen, was er am folgenden Tage in seinen Vorlesungen sagen, oder fürs Publikum schreiben würde. Dann nahm er seine Stellung, es mochte Winter oder Sommer sein, am Ofen, von welchem er durchs Fenster den Löbenichtschen Turm sehen konnte. Dieser wurde zur Zeit dieses Nachdenkens angesehen, oder das Auge ruhte vielmehr auf demselben. Er konnte sich nicht lebhaft genug ausdrücken, wie wohlthätig seinen Augen der, für dasselbe passende, Abstand dieses Objekts sei. Durch tägliche Ansicht in der Dämmerung mag sein Auge sich daran gewöhnt haben. Als in der Folge im Garten seines Nachbars einige Pappeln so hoch emporschossen, daß sie den Turm bedeckten, wurde er darüber unruhig und gestört in seinem Nachdenken: er wünschte daher, daß diese Pappeln bekappt werden möchten. Zum Glück war der Eigentümer des Gartens ein gutdenkender Mann, der für *Kant* Liebe und Hochachtung hatte, und überdem mit ihm in näheren Verbindungen stand; er opferte ihm daher die Wipfel seiner Pappeln auf, so daß der Turm wieder sichtbar wurde und *Kant* bei dessen Anblick wieder ungestört nachdenken konnte.


Bei Licht setzte er das Lesen fort bis gegen 10 Uhr. Eine Viertelstunde vor dem Schlafengehen entschlug er sich so viel als möglich alles scharfen Nachdenkens, und jeder auch nur kleine Anstrengung erfordernden Kopfarbeit, um nicht durch sie aufgestört und zu munter zu werden, denn die kürzeste Verzögerung des Einschlafens war ihm höchst unangenehm. Zum Glück begegnete sie ihm selten. Ohne seinen Bedienten kleidete er sich in seinem Schlafzimmer ganz allein aus, doch immer nur in der Art, daß er in jedem Augenblicke, ohne verlegen zu werden, oder bei seinem



Aufstehen andere verlegen zu machen, erscheinen konnte. Dann legte er sich auf seine Matratze und hüllte sich in eine Decke ein; im Sommer in eine baumwollene, im Herbst in eine wollene; beim Eintritt des Winters bediente er sich beider zusammen und in der strengsten Kälte nahm er eine Federdecke von Eiderdaunen, von welcher der Teil, der die Schultern bedeckt, nicht mit Federn gefüllt war, sondern aus einem Ansatz von dickem wollenen Zeuge bestand. Durch vieljährige Gewohnheit hatte er eine besondere Fertigkeit erlangt, sich in die Decken einzu- hüllen. Beim Schlafengehen setzte er sich erst ins Bett, schwang sich mit Leichtigkeit hinein, zog den einen Zipfel der Decke über die eine Schulter unter dem Rücken durch bis zur andern und durch eine besondere Geschicklichkeit auch den andern unter sich, und dann weiter bis auf den Leib. So emballiert und gleichsam wie ein Kokon eingesponnen, erwartete er den Schlaf. Oft pflegte er zu seinen Tischfreunden zu sagen: *Wenn ich mich so ins Bett gelegt habe, so frage ich mich selbst: „kann ein Mensch gesunder sein, als ich?“* Seine Gesundheit war nicht bloß eine gänzliche Abwesenheit alles Schmerzes; sie war die wirkliche Empfindung und der wahre Genuß des höchsten Wohlbefindens; er schlief daher auch sogleich ein. Keine Leidenschaft machte ihn munter, kein Kummer hielt seinen Schlaf auf, kein Schmerz weckte ihn. Im strengsten Winter schlief er im kalten Zimmer; nur in den letzten Jahren seines Lebens ließ er, auf Anraten seiner Freunde, sein Schlafzimmer sehr mäßig erwärmen. Er war ein Feind von allem, was man sich pflegen und zu gut tun nennt. Seine oben erwähnte Decke von Eiderdaunen war alles, was ihn vor Frost schützte. Nach seiner Aussage wurden höchstens fünf Minuten zu seiner völligen Erwärmung erfordert. Wollte er im Finstern aus irgend einer Ursache sein Schlafzimmer verlassen, welches öfters geschah,




so diente ihm ein jeden Abend von neuem gezogenes Seil zum sichern Wegweiser zu seinem Bette. Sein Schlafzimmer war Sommer und Winter durch finster: bei Tage und bei Nacht waren die Fenster durch Laden geschlossen, und zwar aus einer ganz eigenen Ursache. Durch einen Fehler im Beobachten war er auf eine besondere Hypothese über die Erzeugung und Vermehrung der Wanzen geraten, die er aber für feste Wahrheit hielt. Er hatte nämlich in einer andern Wohnung, zur Abhaltung der Sonnenstrahlen die Fensterladen stets geschlossen gehalten, vergaß aber bei einer kleinen Reise aufs Land, vor seiner Abreise die Fensterladen vorlegen zu lassen und fand bei seiner Zurückkunft sein Zimmer mit Wanzen besetzt. Da er nun glaubte, vorher keine Wanzen gehabt zu haben, so machte er den Schluß: das Licht müsse zur Existenz und zum Fortkommen jenes Ungeziefers notwendig erforderlich und die Verhinderung der eindringenden Lichtstrahlen ein Mittel sein, ihrer Vermehrung vorzubeugen. Wahrscheinlich haben andere Umstände ihn in dieser Meinung bestärkt. Vielleicht hatte eine ohne sein Vorwissen besorgte Reinigung sie vertrieben, und da er in dieser Zeit die Fensterladen wieder sorgfältig verschlossen gehalten, so glaubte er, die nun verschwundenen Insekten durch die Finsternis vertilgt zu haben. Auf die Wahrheit seiner Theorie bestand er indessen so fest, daß er jeden Zweifel, so leise, jede Bedenklichkeit, so klein sie auch sein möchte, übel empfand. Selbst das für jeden andern so überzeugende Argument, daß zur Zeit seines ersten Dieners sein Bett stark mit jenen Insekten besetzt war, konnte ihm nicht entgegengestellt werden, weil er geradezu erwidert haben würde: man habe das Schließen der Laden unterlassen, und das Tageslicht hätte seine schöpferische Macht in Hervorbringung jener Insekten ungehindert äußern können. Nie klagte er über Beschwerden, die diese Tiere




ihm zugefügt hätten, und würde, nach gehabter Erfahrung ihres Daseins, sie vielleicht doppelt unangenehm empfunden haben; wer weiß, hätte dadurch nicht seine Überzeugung von der Gewalt des Gemüts auf körperliche Empfindungen in etwas gewankt. Ich ließ ihn bei seiner Meinung, sorgte für Reinigung seines Schlafzimmers und Bettes, wodurch die Wanzen sich verminderten, obgleich die Laden und Fenster, um frische Luft zu schaffen, fast täglich, wie wohl ohne sein Mitwissen, geöffnet wurden. Er schlief nach der Zeit ruhiger, ohne zu wissen, warum.

Weder in der Nacht, noch bei Tage transpirierte *Kant*. Vielleicht hatte seine Natur, mehr durch ängstliche, als sorgfältige Vermeidung alles dessen, was Schweiß erregen konnte, sich schon dazu gewöhnt. Auffallend war es aber, daß er in seinem Wohnzimmer eine beträchtliche Wärme ertragen konnte, und sich unglücklich fühlte, wenn nur Ein Grad daran fehlte. Fünfundsiebzig Grad nach Fahrenheit mußte der unverrückte Stand seines Thermometers in diesem Zimmer sein, und fehlte dieses im Juli und August, so ließ er seine Stube bis zu dem erforderlichen Standpunkte des Thermometers erwärmen. Im heißen Sommer ging er leicht gekleidet, stets in seidenen Strümpfen, die er nie aufband, sondern durch eine eigene künstliche Vorrichtung in gehöriger Lage zu erhalten suchte. In einer, einem Taschenuhrgehäuse ähnlichen, jedoch kleineren Kapsel war in einem Federhause, um welches sich eine Darmsaite, wie die Kette in der Uhr wand, eine Uhrfeder angebracht, deren ziehende Kraft durch ein Gesperr vermehrt oder vermindert werden konnte. An beiden Enden der doppelten Saite waren zwei Häkchen, die auf beiden Seiten des Strumpfes eingehakt wurden. Zu den Kapseln selbst waren neben der Uhrtasche, dieser ähnliche kleinere Taschen befindlich, die unten eine kleine Öffnung hatten, durch welche die Saiten




mit den daran befindlichen Häkchen gingen. Wäre diese Einrichtung nicht so originell und deutete sie nicht zugleich auf Kants Ordnungsliebe und die von ihm im Auge gehabte Gesundheitsregel hin, den Umlauf des Bluts durch festgezogene Bänder nicht hemmen zu wollen, so verdiente sie kaum einer Erwähnung. Für *Kant* waren diese elastischen Strumpfbänder ein solches Bedürfnis, daß die Unordnung, in welche sie bisweilen gerieten, ihn in Verlegenheit setzte, der ich zum Glück sehr leicht abhalf. Da ihn indessen sein schon erwähnter leichter Anzug im Sommer bei Bewegungen im Freien doch nicht völlig vor Anwendungen des Schweißes sichern konnte, so hatte er auch dagegen ein Vorbeugungsmittel in Bereitschaft. Er blieb in irgendeinem Schatten und in der Stellung, als wenn er jemanden erwartete, so lange still stehen, bis die Anwandlung zur Transpiration vorüber war. War aber in einer schwülen Sommernacht nur eine Spur von Schweiß bei ihm eingetreten, so erwähnte er dieses Falles mit einer Art von Wichtigkeit, als eines ihm zugestoßenen widrigen Ereignisses.

Fünf Minuten vor fünf Uhr morgens, es mochte Sommer oder Winter sein, trat sein Diener *Lampe* in die Stube mit dem ernstesten militärischen Zuruf: *Es ist Zeit!* Unter keiner Bedingung, auch in dem seltenen Fall einer schlaflosen Nacht, zögerte *Kant* nur einen Augenblick, dem strengen Kommando den schnellsten Gehorsam zu leisten. Oft tat er bei Tische mit einer Art von Stolz an seinen Diener die Frage: *Lampe, hat er mich in dreißig Jahren nur an einem Morgen je zweimal wecken dürfen?* „Nein, hochedler Herr Professor“, war die bestimmte Antwort des ehemaligen Kriegers. Mit dem Schlage fünf saß *Kant* an seinem Teeti-sche, trank, wie er es nannte, *Eine Tasse Tee*, die er aber in Gedanken und um sie warm zu erhalten, so oft nachfüllte, daß wenigstens zwei, wo nicht mehrere, aus ihr wurden.




Dabei rauchte er die einzige Pfeife für den ganzen Tag mit einem zu diesem Behufe längst gebrauchten Hut auf dem Kopfe, und zwar mit solcher Schnelligkeit, daß ein glühender Aschkegel, den er mit dem gewöhnlichen Namen eines Holländers belegte, zurückbleiben mußte. Bei dieser Pfeife überdachte er abermals, wie abends vorher am Ofen, seine Dispositionen, und ging gewöhnlich um 7 Uhr zu seinen Vorlesungen und von diesen an seinen Schreibtisch. Um 3/4 auf 1 Uhr stand er auf, rief der Köchin zu: *Es ist dreiviertel!* Gleich nach der Suppe nahm er einen Schluck, wie er es nannte, der aus einem halben Glase Magenwein, Ungar, Rheinwein, oder auch in Ermangelung jener, aus Bischof bestand. Diesen Wein brachte die Köchin dann herauf. Er ging damit ins Speisezimmer, goß sich ihn selbst ein und umschlug das Glas mit einem Sedezblatt Papier, um das Verrauchen zu hindern. Seine Tischfreunde werden wissen, daß dieses ein wichtiges Geschäft für *Kant* war, das er keinem so leicht anvertrauet hätte, und das daher hier seinen Platz haben mußte. Nun erwartete *Kant* seine Gäste, auch noch in den spätesten Zeiten seines Lebens, völlig angekleidet. Bei Vorträgen, in dem Kreise seiner Vertrauten, auch am Tische im Schlafrock zu erscheinen, fand er unschicklich und sagte: *Man müsse sich nicht auf die faule Seite legen.*

So war ein Tag dem ändern ähnlich und in dieser ihm weder lästigen noch langweiligen Gleichförmigkeit gingen *Kants* Tage in strenger Ordnung froh dahin. Gerade diese Ordnung und seine sich stets gleiche Diät scheinen viel zu seinem langen Leben beigetragen zu haben, und er sah daher auch seine Gesundheit und sein hohes Alter fast als sein eigenes Werk an; ja als ein Kunststück, wie er es selbst nannte: bei so vielen Gefahren, denen das Leben ausgesetzt ist, sich noch bei allem Schwanken im Gleichgewicht zu



erhalten. Er tat sich darauf so viel zu gut, wie der gymnastische Künstler, der lange auf einem schlaffen Seile äquilibriert, ohne von demselben nur einmal hinabzugleiten. Triumphierend über jeden Anfall von Krankheit stand er fest; dennoch aber war er unparteiisch genug, bisweilen zu sagen: Es sei immer etwas impertinent, so lange zu leben, als er, weil dadurch jüngere Leute nur erst spät zu Broten kämen. Diese Sorgfalt für die Erhaltung seiner Gesundheit war auch die Ursache, warum ihn neue Systeme und Erfindungen in der Medizin so sehr interessierten. Er sah das Brownsche System als eine Haupterfindung dieser Art an. Sobald Weikard dasselbe adoptiert und bekannt gemacht hatte, wurde auch *Kant* mit demselben vertraut. Er hielt es für einen bedeutenden Fortschritt, den nicht nur die Medizin, sondern auch mit ihr die Menschheit gemacht hätte, fand es mit dem gewöhnlichen Gange der Menschheit: nach vielen Umwegen vom Zusammengesetzten endlich zum Einfachen zurückzukehren, sehr übereinstimmend, und versprach sich von ihm noch vieles andere Gute, unter andern auch in ökonomischer Hinsicht für den Patienten, den Armut hindert, die kostbaren und zusammengesetzten Heilmittel zu gebrauchen. Sehulich wünschte er daher, daß dieses System bald mehr Anhänger erhalten und allgemein in Umlauf gebracht werden möchte.

Ganz entgegengesetzter Meinung war er aber im ersten Anfange, als D. Jenner seine Erfindung der Kuhpocken bekannt machte, über den großen Vorteil derselben fürs Menschengeschlecht. Er verweigerte ihnen den Namen der Schutzblättern noch sehr spät; meinte sogar, daß die Menschheit sich zu sehr mit der Tierheit familiarisire und der erstem eine Art von Brutalität (im physischen Sinne) eingeeimpft werden könne. Er fürchtete ferner, daß durch Vermischung des tierischen Miasmas mit dem Blute, oder




wenigstens mit der Lympe, dem Menschen Empfänglichkeit für die Viehseuche mitgeteilt werden könnte. Endlich bezweifelte er auch, aus Mangel hinlänglicher Erfahrungen, die Schutzkraft derselben gegen die Menschenblattern. So wenig alles dieses auch Grund haben mochte, so war es doch angenehm, die verschiedenen Gründe für und wider abzuwägen.

Beddoes Versuche mit der Lebensluft³⁴ und dem Stickgas³⁵, durch Einatmung der erstern sich die Schwindsucht zuzuziehen, und durch Einziehung der letztem sie zu heilen, so wie *Reichs* Methode, die Fieber zu heben, machten großen Eindruck auf ihn, der aber auch mit dem Zurücksinken dieser Erfindungen und besonders der letztem in ihr Nichts von selbst aufhörte. Die Theorie des Galvanismus und die Beschreibung der Phänomene desselben konnte er, aller darauf verwandten Mühe ungeachtet, nicht mehr ganz fassen. *Augustins* Schrift über diesen Gegenstand war eine der letzten, die er las, und der er noch Bemerkungen mit Bleistift an dem Rande beifügte. Mir trug er in den letzten Zeiten auf, ihm Auszüge aus dem, was ich darüber gelesen hätte, zu machen.


Allmählich schlichen sich nun bei ihm die Schwächen des Alters ein, und die Spuren derselben waren auf mehr als eine Art bemerkbar. Es schien, als ob das, was *Kants* ganzes Leben hindurch ein Fehler an ihm, obgleich im unmerklichen Grade gewesen, nämlich, eine besondere Art von Vergeßsamkeit in Dingen des gemeinen Lebens, nun mit den Jahren einen höhern Grad erreicht hätte. Er selbst gestand, daß er sich diesen Fehler sehr oft habe zuschulden kommen lassen, und führte als Beleg aus den frühesten Jahren seines

³⁴ Sauerstoff

³⁵ Stickstoff



Lebens folgende Geschichte an. Als ein ganz kleiner Knabe hielt er sich, wie er aus der Schule kam, gewisser, leicht zu erratender Ursachen wegen, einige Augenblicke unter einem Fenster auf, hing seine Bücher an den Ladenriegel und vergaß sie wieder abzunehmen. Bald darauf hörte er den ängstlichen Nachruf einer alten, gutmütigen, ihm unbekanntem Frau, die ihm keuchend nacheilte und ihm seine Bücher mit vieler Freundlichkeit einhändigte. Noch in den spätern Jahren seines Lebens vergaß er das Betragen dieser Person nicht, und machte auch kein Geheimnis daraus, daß er sonst schon vergeßsam gewesen sei. Was früher sich seltener ereignete, traf nun im Alter öfterer ein. Er fing an, seine Erzählungen mehr als einmal an einem Tage zu wiederholen. Die entferntesten Ereignisse der Vorzeit standen mit aller Lebhaftigkeit und Genauigkeit deutlich vor ihm, nur die Gegenwart machte, wie dieses oft bei Greisen der Fall ist, schwächern Eindruck auf ihn. Er konnte lange deutsche und lateinische Gedichte mit bewunderungswürdiger Fertigkeit rezitieren, doch nur solche, in denen Geschmack, feiner Witz und angenehme komische Darstellungen herrschten, und die dadurch zur Erheiterung der Gesellschaft vieles beitragen konnten. Kraftvolle Stellen aus den lateinischen Dichtern, besonders ganze Abschnitte aus der Aeneis standen ihm ohne Anstoß zu Gebot, während daß ihm das, wovon eben gesprochen wurde, entfiel. Er selbst merkte die Abnahme seines Gedächtnisses und schrieb daher zur Vermeidung der Wiederholung und aus Vorsorge für die Mannigfaltigkeit der Unterhaltung sich die Themata dazu auf kleine Zettel, Brief-Kuverte und abgerissene unförmliche Papierchen auf, deren Anzahl zuletzt so angewachsen war, daß der verlangte Zettel gemeiniglich nur schwer gefunden werden konnte. Beim Ausweißen seiner Studierstube 1802 im August wollte er sie verbrennen las-



sen. Ich bat um die Erlaubnis, sie an mich nehmen zu dürfen, und erhielt sie. Einige derselben besitze ich noch und bewahre sie als Reliquien auf, bei deren Ansicht ich mich des darüber Gesagten und der ehemaligen angenehmen und nützlichen Unterhaltungen erinnere. Zur Probe liefere ich einen derselben, so wie ich ihn ohne Auswahl ergreife, und schreibe, nach Weglassung dessen, was sich entweder auf seine Küche bezieht, oder doch nicht fürs Publikum gehört, wörtlich die kurzen, abgebrochenen Sätze hin: „Stickstoffsäure ist eine bessere Benennung als Salpetersäure. Requisita des Gesundseins. Clerici³⁶, Laici³⁷. Jene Regulares³⁸, diese Seculares³⁹. Von der ehemaligen Belehrung meiner Schüler, Schnupfen und Husten gänzlich zu verbannen (Respiration durch die Nase). Das Wort Fußstapfen ist falsch; es muß heißen Fustappen. Der Stickstoff Azote ist die säurefähige Basis der Salpetersäure. Der Winterpflaum (φλομοζ), den die Schafe von Angora, ja sogar die Schweine haben, die in den hohen Gebirgen von Caschmir gekämmt werden, weiterhin in Indien unter dem Namen Shalws, die sehr theuer verkauft werden. Ähnlichkeit des Frauenzimmers mit einem Rosenknöpfchen, einer aufgebühten Rose und einer Hagebutte. Vermeinte Berggeister, Nickel, Kobolt. Duroc usw.“ Statt dieser Zettelchen machte ich ihm kleine Büchelchen von einem Bogen Postpapier in Sedez gebunden.


Ein zweites Zeichen seiner Schwäche war seine Theorie über das allerdings merkwürdige Phänomen, den Katzentod in Basel, Wien, Kopenhagen und andern Orten. Er hielt ihn

³⁶ Geistliche


³⁷ Laien

³⁸ Nach Regeln Lebende

³⁹ Weltliche



für eine Folge der damals nach seiner Meinung herrschenden Elektrizität von eigener Art, und diese insbesondere von nachteiligen Folgen für diese an sich elektrischen Tiere. Auch wollte er überdem in jener Epoche und der auf sie folgenden Zeit eine besondere Figur der Wolken wahrgenommen haben. Ihm kamen die Grenzen derselben nicht so scharf gezeichnet vor, der Himmel schien ihm gleicher bezogen und nicht mit Gebirgen ähnlichen Wolken bedeckt zu sein. Davon sollte nun diese Art der Elektrizität die Ursache sein. Aber nicht bloß die dem Seifenwasser ähnlichen Wolken, nicht bloß den Katzentod, nein, auch seine Kopfbedrückungen leitete er von derselben Ursache ab. Was er aber Kopfbedrückungen nannte, dürfte wohl eher ein vom eintretenden Alter herrührendes Unvermögen gewesen sein, nicht mehr mit der vorigen Leichtigkeit und so scharf denken zu können, als er es sonst gewohnt war. Einer jeden Remonstration gegen seine Theorie suchte er auszuweichen. Seine Überzeugung von ihrer Gewißheit wurde auch dadurch noch vergrößert, daß seine Freunde aus Schonung und Delikatesse für ihn, ihm nicht geradezu widersprachen. Gern ließ man ihm die individuelle Überzeugung: daß sein Zustand vom Einfluß der Witterung abhängt, weil doch nichts so leicht eine Änderung zuläßt, als diese Hoffnung, auch nur im weitesten Prospekt, die demnach ihn wieder mutvoll und zufrieden machte. Wer von seinen teilnehmenden Freunden hätte gerade diesem Leidenden den noch etwas lichten Prospekt durch unnötige Zweifel verdunkeln, wer ihm die letzte Hoffnung des Besserwerdens durch Widerspruch rauben können? Seine tägliche und an einem Tage mehr als einmal wiederholte standhafte Behauptung, daß nichts anderes, als diese Art der Elektrizität, die Ursache seines Übels sei, setzte es seinen Freunden außer Zweifel, daß die Natur ihre Rechte über ihn behaupte, und daß er




unter der Bürde der Jahre zu sinken beginne. *Kant*, der große Denker, hörte nun auf zu denken.

Vielleicht glaubt man eine Art von verborgener Eitelkeit hierin zu bemerken, als ob er, seiner ehemaligen Größe sich bewußt, seine nun anrückende Schwäche habe ableugnen, verhehlen, oder auch beschönigen wollen? Nichts weniger; seine eigenen Ausdrücke sind entscheidend und rechtfertigen ihn gegen jeden Argwohn dieser Art.

Schon im Jahre 1799, da sie kaum bemerkbar wurde, sagte er einst, indem er sich über seine Schwäche erklärte, in meiner Gegenwart: „*Meine Herren, ich bin alt und schwach, Sie müssen mich wie ein Kind betrachten.*“

Vielleicht sollte man denken, er habe den herannahenden Tod und besonders, wegen seiner zunehmenden Kopfbedrückungen, einen ihn in jeder Stunde bedrohenden Schlagfluß gefürchtet? Vielleicht war mit der langen Lebensgewohnheit die Anhänglichkeit an das Leben, wie dieses oft bei Greisen der Fall ist, gewachsen? Nein! auch dieses nicht. Er blieb der Resignation auf dasselbe und der ruhigen Erwartung des Todes stets fähig. Auch hierüber sind seine Äußerungen, die schon anderwärts, aber aus ihrem rechten Gesichtspunkte verschoben, öffentlich angeführt sind, des Aufbehaltens wert. „*Meine Herren*“, sagte er, „*ich fürchte nicht den Tod, ich werde zu sterben wissen. Ich versichere es Ihnen vor Gott, daß, wenn ich's in dieser Nacht fühlte, daß ich sterben würde, so wollte ich meine Hände aufheben, falten und sagen: Gott sei gelobt! Ja, wenn ein böser Dämon mir im Nacken säße und mir ins Ohr flüsterte: Du hast Menschen unglücklich gemacht! dann wäre es etwas anderes.*“ Dieses sind Worte eines durchaus rechtlichen Mannes, der mit Begehung einer Unlauterkeit sich nicht das Leben erkaufte, der die Worte sich oft zurief und sie sich fast zum Wahlspruch gemacht hatte: *Crede summum nefas, animam praeferre pudori et propter*




vitam vivendi perdere causas⁴⁰. Wer von seinen Tischfreunden Zeuge war, wenn *Kant* von seinem Tode sprach, wird mir beistimmen, daß keine Heuchelei bei ihm im Hinterhalte versteckt war.

Die allmählich sinkenden Kräfte des von seinen Arbeiten ermüdeten Greises brachten nach und nach eine Änderung in seiner bisherigen Lebensweise zuwege. Seit langer Zeit war er gewohnt, um 10 Uhr schlafen zu gehen und um 5 Uhr geweckt zu werden. Der letzten Gewohnheit blieb er treu, der ersteren aber nicht. Er hatte zwar noch Ressourcen in sich, mußte aber doch schon anfangen, mit jeder Kraft sehr haushälterisch umzugehen. Zuerst setzte er also seiner Schlafzeit einige Minuten zu, die sich sehr bald zu Stunden vermehrten. Im Jahre 1802 ging er schon um 9 Uhr und späterhin noch früher ins Bett. Er fühlte durch diese Verlängerung seiner Ruhe sich gestärkt. Fast glaubte er, das rechte Mittel zur Vermehrung seiner Kräfte gefunden zu haben, vermehrte daher den Gebrauch desselben, aber mit wenigem Erfolg.

Seine Spaziergänge schränkte er auf eine kurze Promenade im Königsgarten unweit seines Hauses ein. Um fester zu gehen, beobachtete er damals eine eigene Manier. Er setzte den Fuß perpendikulär mit einem gewissen Stampfen auf die Erde, um teils, wenn er mit der ganzen Fußsohle die Erde berührte, die Basis zu vergrößern; teils auch fester in den sandigten Boden zu treten. Dennoch fiel er einst auf der Straße. Zwei Damen eilten, ihm aufzuhelfen, weil er's selbst nicht konnte. Er dankte sehr für den tätigen Beistand dieser ihm unbekanntenen Personen und präsentierte, noch den Grundsätzen seiner Artigkeit treu, der einen die Rose,


⁴⁰ Für den größten Frevel halte es, das Dasein dem Ehrgefühl vorzuziehen und um des Lebens willen die Grundlagen des Lebens zu verlieren (Juvenal, Saturae 8, 83-84).



die er eben in der Hand hatte, die sie mit überaus großer Freude annahm und zum Andenken aufbewahrt.

Vielleicht war dieser Fall die Ursache, warum er seine Spaziergänge in der Folge ganz einstellte. Die Urtheile seiner Freunde waren darüber geteilt, ob *Kant* aus Schwäche nicht mehr ausgehen konnte; oder ob die unterlassene Bewegung ihn noch mehr geschwächt habe. Auch seine Arbeiten, die mehr im Lesen, als im Schreiben bestanden, gingen ihm nun langsamer vonstatten. Jede Beschäftigung wurde dem bisher so tätigen Manne, besonders wenn sie mit körperlichen Bewegungen verbunden war, lästig. Seine Füße versagten ihm den Dienst immer mehr. Er fiel sowohl im Gehen als im Stehen, aber fast stets ohne Verletzung, belachte jeden Fall und behauptete, er könne wegen der Leichtigkeit seines Körpers nicht schwer fallen. Oft, besonders des Morgens, schlief er vor Mattigkeit auf seinem Stuhle ein, fiel im Schlafe herunter, konnte sich selbst nicht helfen und blieb dann ruhig liegen, bis irgendjemand kam. Später wurde der gewöhnliche Stuhl mit einem anderen, der rings umher eine Lehne hatte, verwechselt, und seit dieser Zeit kamen dergleichen Unfälle bei *Kant* nicht mehr vor.


Dieses Einschlafen außer der Zeit hätte auch noch auf eine andere Art für ihn nachteiliger werden können. Er sank beim Lesen dreimal kurz nacheinander mit dem Kopfe ins Licht; die baumwollene Nachtmütze entzündete sich und stand in hellen Flammen auf seinem Kopfe. Ohne aber darüber zu erschrecken, nahm er sie mit bloßen Händen ab, achtete den Schmerz des Verbrennens nicht, legte sie ruhig auf die Mitte des Fußbodens und trat sie mit den Füßen aus. Ich stellte ihm indes die Gefahr dieses Wagstückes vor, daß die Flamme seine Schlafröcke ergreifen und er leicht verbrennen könnte, hielt von nun an ein Glas und eine Flasche Wasser auf seinem Tische in Bereitschaft, ließ die



Form der Nachtmützen ändern und bat ihn, meinen Rat zu befolgen, daß, wenn je wider Vermuten dieser Vorfall sich ereignen sollte, er die Flamme ja nicht mit den Füßen austreten möchte. Bei diesen Vorkehrungen und einer weitem abgemessenen Distanz des Lichts, an welche *Kant* sich bald gewöhnte, wurde dem Übel, das nicht bloß für ihn, sondern auch für andere hätte schädlich sein können, vorgebeugt.

Mit den Auszahlungen seines Geldes konnte *Kant* sich, ohne Nachteil für sich, nicht mehr beschäftigen. Er bezahlte einer ehrlichen Frau fünf Taler für Lichte, gab aber statt halber Gulden Guldenstücke und folglich die doppelte Summe. Die Frau war schon im Begriff, das Geld an sich zu nehmen, als sie *Kants* Versehen bemerkte und die halbe Summe zurückschob. Er erzählte sogleich seinen Fehler, um die Ehrlichkeit der Frau nicht zu verschweigen. Aber von seinen Geldempfängern war vielleicht nicht jeder so ehrlich, wie diese Frau. Gewiß hat mancher die Schwäche *Kants* auf eine unedle Art gemißbraucht.

Jene Unfälle, welche erlittene Verluste und das Gefühl von seiner zunehmenden Schwäche, sowie die Überzeugung von der Notwendigkeit einer baldigen Unterstützung durch eine fremde Kraft neigten ihn immer mehr zu mir hin. Er hatte sich stets etwas aufgezeichnet, um mit mir darüber Rücksprache zu nehmen, mich um Rat zu fragen, oder um die Besorgung einer ihm nötigen Sache zu bitten. So ungern er es, besonders in seinen frühern Jahren, sah, wenn seine Freunde ihn außer der Zeit besuchten, so fing er doch jetzt an, den Wunsch lauter werden zu lassen, daß ich, wenn es meine Zeit erlaubte, im Vorbeigehen antreten und sehen möchte, was er mache. Die Art, mit der er dieses tat, war so einladend für mich, daß ich seinen Wunsch gern erfüllte. Bald aber hätte mich ein Umstand abgeschreckt, meine Besuche zu wiederholen. Ich kam nur in der Absicht hin,




um nachzusehen, ob ihm etwas zu seiner Bequemlichkeit oder irgendetwas Notwendiges fehle, ob ich durch Rat oder Tat ihm könnte behilflich sein; aber er machte mit sichtbarer Anstrengung den unterhaltenden Wirt und war mehr galant, als unbefangen. Ich suchte der Sache dadurch eine andere Wendung zu geben, daß ich meine folgenden Besuche auf wenige Minuten einschränkte, und überhob ihn dadurch der Mühe der Unterhaltung. Ich verweilte länger, wenn ich das Wort hatte, machte aber Miene zum Aufbruch, sobald ich merkte, daß die Unterhaltung ihn ermüde. In dieser abgemessenen Distanz gingen einige Zeiten hin.

Auch ein anderer Umstand, der öftere Besuche nötig machte, kam noch hinzu. Seine Geldgeschäfte hatte bisher Herr D.J.⁴¹ übernommen, der *Kants* volles Vertrauen besaß und verdiente. Dieser Freund *Kants* verließ Königsberg, und so hörte mit seinem Aufenthalt an diesem Orte auch natürlich sein ihm geleisteter Beistand auf. Kaum darf ich glauben, daß, wenn diese Trennung nicht erfolgt wäre, er sich so bald an mich angeschlossen hätte. Unentschlossenes Hin- und Herschwanken, schnelles Abspringen in der Freundschaft und Wandelbarkeit in seinem Zutrauen waren nicht Fehler des Mannes, der seine Maximen sorgfältig prüfte, treulich lehrte und fest nach ihnen handelte.


Zwar beeiferten sich auch seine Tischfreunde, ihm mit dem Mehrteil ihrer Kräfte treulich auszuhelfen, so daß fast jeder die Besorgung eines Zweiges seiner Ökonomie übernahm; ja sogar ein von *Kant* sehr geschätzter auswärtiger Freund für seine Küche sorgte. An mich wandte er sich, wenn ihm Wäsche und Kleidungsstücke fehlten, oder Reparaturen in seinem Hause nötig waren. Bei der Besorgung

⁴¹ Dr. med. Johann Benjamin Jachmann (1765—1832): Mediziner und zeitweilig Amanuensis von Kant; Bruder des Pädagogen und Kant-Biographen Reinhold Bernhard Jachmann (1767—1843).



aller dieser Bedürfnisse fehlte ihm aber noch jemand, der sich seiner Geldangelegenheiten und fast aller seiner häuslichen Bedürfnisse annehmen möchte.


So geschickt *Kant* zu Kopfarbeiten war, so unbeholfen war er in Handarbeiten. Nur die Feder verstand er zu regieren, aber nicht das Federmesser. Ich mußte ihm daher gemeiniglich die Federn nach seiner Hand schneiden. Lampe verstand es noch viel weniger, irgendeinem Mangel im Hauswesen abzuhelpen. Nie sah er, woran es lag, daß eine Sache nicht Dienst tun wollte, vielmehr wandte er bloß Gewalt an und wollte, was er mit dem Kopfe nicht zwingen konnte, mit der Hand allein bewerkstelligen. Bei einem solchen Verfahren war dann oft guter Rat teuer. Der große Theoretiker und der kleine Praktiker in der Mechanik, *Kant* und Lampe, jener ganz Kopf, dieser ganz Hand, waren oft über unbedeutende Dinge verlegen. Jener entwarf das Problem, einer Sache abzuhelpen, dieser besorgte die Auflösung, aber nicht des Problems, sondern der Sache selbst, die er oft durch falsch angewandte Gewalt zertrümmerte. Es war *Kant* überaus angenehm, wenn kleinen Mängeln, als dem Knarren oder dem schwierigen Auf- und Zugehen einer Türe auf der Stelle, ohne fremde Beihilfe, mit Leichtigkeit und besonders ohne Geräusch abgeholfen, oder wenn der irreguläre Gang seiner Uhr (die *Kant* so lieb hatte, daß er bisweilen sagte: wenn er in Not wäre, müßte sie das letzte Stück sein, das er verkaufen würde) verbessert wurde. Mir, der ich mich mit mechanischen Handarbeiten beschäftigt hatte, gelang so etwas leicht. Gewohnt, zuerst den Sitz des Übels und der entgegengesetzten Wirkung aufzusuchen, fand ich den Fehler bald, und half ihm oft ohne Werkzeuge ab. Die Schnelligkeit, mit welcher dieses bisweilen geschah, erregte *Kants* Bewunderung und Freude, besonders dann, wenn er selbst das Übel für unheilbar gehalten hatte, daß er von mir



bisweilen sagte: ich wüßte in allen Dingen Rat. Ich würde diese Äußerung mit Stillschweigen übergangen haben, wenn sie mir nicht den Aufschluß zu geben schiene, warum *Kant* vor seinen übrigen Tischfreunden gerade mich wählte. Seine abnehmenden Kräfte veranlaßten ihn wahrscheinlich, sich nach Jemanden umzusehen, der, nach seinem Ausdruck, so etwas Rat wüßte. Außer dieser Ursache mochte es auch vielleicht die Wahrnehmung sein, daß die weitläufigeren Geschäfte seiner übrigen Freunde es ihnen nicht erlaubten, sich seiner täglich und so anzunehmen, als es seine Hilfsbedürftigkeit notwendig erforderte. Hiezu kam noch die geringe Entfernung meiner Wohnung von der seinigen und die Gewißheit, daß ich nicht, wie einige andere seiner Tischfreunde, weite und langwierige Amtsreisen übernehmen durfte, die mich von ihm getrennt hätten.

Dieser angeführte Zusammenfluß mehrerer Umstände setzt es außer Zweifel, daß *Kant* bei seiner Wahl in meiner Person zu seinem Beistande, nicht die großen Vorzüge seiner übrigen Tischfreunde übersah, sondern nur durch die angezeigten Umstände zu derselben bestimmt wurde. Vielleicht mag auch die schnelle Pünktlichkeit, mit der ich seine Aufträge durch Beihilfe meiner Familie besorgte, eine Nebenursache gewesen sein, mich zu wählen. Gerade durch schnelle Besorgung einer Sache geschah ihm ein großer Gefallen. Wurde seine Frage: Kann das *auf der Stelle* geschehen? mit seinen eigenen Worten: „Ja, auf der Stelle!“ beantwortet, so rief er mit sichtbarer Freude aus: O! das ist herrlich! Ein bloßes Ja! war ihm eine zu schwache Affirmation.


Man kann es als ein drittes Kennzeichen seiner Schwäche ansehen, daß er mit der Zunahme derselben zugleich alles Zeitmaß, besonders in kleinern Abschnitten derselben, verlor. *Eine* Minute, und ohne alle Übertreibung, ein weit



kleinerer Zeitraum schien eine ganz unverhältnismäßig lange Zeit für ihn zu sein. Er konnte sich durchaus nicht davon überzeugen, daß die Besorgung einer, mit der schnellsten Geschwindigkeit beendigten, Sache nicht lange gedauert hätte.


Am Anfange seines letzten Lebensjahres fiel es ihm, wider seine sonstige Gewohnheit, bisweilen ein, nach vollbrachter Mahlzeit am Tische, noch in der völligen Stellung der Speisenden, mit seinen Tischgästen, besonders aber, wenn ich bei ihm speisete, eine Tasse Kaffee, wobei ich wider meinen Wunsch eine Pfeife Tabak rauchen mußte, zu trinken. Er freute sich schon den Tag vorher auf meine Anwesenheit, den Kaffee und die Pfeife, bei welcher letzteren er aber nie Gesellschaft leistete, außerordentlich. Er sprach über Tische schon oft davon, hatte diesen Umstand sich in sein Büchelchen, das ich ihm statt jener Zettel verfertigen ließ, aufgezeichnet. Da dieser neu erfundene, der Verdauung nicht eben vorteilhafte Nachtschmaus die Mahlzeit oft verlängerte und mir zu viel Zeit nahm, so suchte ich, wenn's möglich war, demselben auszuweichen. Oft war er bei Tische in Gesprächen so vertieft, daß er es vergaß, daß ich, sein *ex officio*⁴² rauchender Gast, am Tische säße. Die Sache blieb dann bisweilen auf sich beruhen, welches ich auch umso lieber sah, weil ich vom Kaffee, diesem ihm ungewöhnlichen Getränke, mehrere Beunruhigung bei ihm in der Nacht befürchtete. Gelang aber der Versuch nicht, den Kaffee ihn vergessen zu machen, so kam die Sache etwas übel zu stehen; besonders, wenn es schon spät an der Zeit war. Die Äußerungen einer doch noch immer sanften Ungeduld waren bisweilen sehr naiv und reizten zum Lächeln. Es sollte der Kaffee *auf der Stelle* (ein ihm gewöhnlicher Ausdruck)

⁴² Von Amts wegen (lat.)




geschafft werden. Alle Vorkehrungen waren an dem Tage, an welchem ich bei ihm speisete, schon zur schnellsten Bereitung desselben getroffen. Es durfte an dieses ihm so wichtige Werk zu seiner Vollendung nur die letzte Hand angelegt werden. Pfeilschnell eilte der Bediente, den Kaffee in das schon kochende Wasser zu schütten, ihn aufsieden zu lassen und heraufzubringen; doch währte ihm diese kurze, dazu erforderliche Zeit unausstehlich lange. Auf jede Vertröstung erwiderte er etwas anderes und war über Abänderung der Formeln nie verlegen. Sagte man: der Kaffee wird gleich gebracht werden, so erwiderte er: „*Ja, wird*; das ist der Knoten, daß er erst gebracht werden *wird*.“ Hieß es: er kommt bald! so fügte er hinzu: „*Ja, bald-*, eine Stunde ist auch bald, und so lange hat es schon nach der Zeit gedauert, als es auch bald hieß.“ Endlich sagte er mit stoischer Fassung: „Nun darüber kann ich sterben; und in jener Welt will ich keinen Kaffee trinken.“ Er stand auch wohl vom Tische auf und rief zur Türe hinaus und das ziemlich verständlich: Kaffee! Kaffee! Hörte er endlich den Diener die Treppe hinaufkommen, so rief er jauchzend: „*Ich sehe Land!*“ wie der Matrose vom Mastkorbe. Auch das Kaltwerden des Kaffees erforderte eine für ihn zu lange Zeit; ob er gleich in mehrere Tassen umgegossen wurde. War er endlich zum Genuß völlig fertig, so hörte man auch wohl ein Heisa Kurage, meine Herren! bei dessen Aussprache, besonders des zweiten Wortes, er das r aus Freude außerordentlich schärfte, und wenn alles genossen war, ein: Und hiemit Basta! welchen Ausdruck er mit einem Tempo, mit dem er die Tasse stark hinsetzte, gewöhnlich begleitete.

Um ihm manche Ungeduld zu ersparen, hielt ich jede, von ihm etwa verlangte, und dem Verderbnis nicht so leicht ausgesetzte Sache vorrätig, oder ließ sie von mir holen. Diese Maßregel erleichterte ihm seine sonst so freudenlee-




ren Tage ungemein; ja er fing an zu glauben, daß er ohne meine Beihilfe nicht wohl bestehen könnte. Ich richtete mich daher so ein, ihn täglich eine halbe Stunde zu besuchen.

Nach dem bereits Angeführten war zu vermuten, daß die bemerkten Idiosynkrasien *Kants* bei zunehmender Schwäche leicht in eine Art von Eigensinn übergehen würden, der in einem genaueren Umgange mit ihm manche Unannehmlichkeiten hätte herbeiführen können. Ich bestimmte mir also die nötigen Grundsätze, die ich beobachten wollte, um ihm und mir die Lage zu erleichtern. So sehr ich den großen Mann verehrte, so erlaubte ich mir doch nie irgend eine Schmeichelei, urteilte mit Freimütigkeit, jedoch ohne auf die entfernteste Weise anmaßend zu sein, und bestand mit Beharrlichkeit auf dem, was ich als entschieden nützlich und gut für ihn erkannte. Dieses Betragen war es ohne Zweifel, was mir sein Vertrauen immer mehr erwarb. *Kant*, als edler Mann, verabscheute nichts so sehr, als elende Kriecherei. Mit seinen zunehmenden Jahren schlichen sich manche irrige Meinungen, mancher ungegründete Verdacht, manche mürrische Äußerungen gegen sein Gesinde ein. In den meisten Fällen, wo er fehlte, beobachtete ich ein tiefes Stillschweigen. Fragte er mich, wo er Unrecht hatte, um meine Meinung, so sagte ich mit Freimütigkeit, daß ich aus diesen oder jenen Gründen, die ich nach Maßgabe der Sache anführte, nicht seiner Meinung sein könnte. Ein entgegengesetztes Betragen, Schmeichelei und Parteilichkeit, wären gewiß die sichersten Mittel gewesen, mich seines Vertrauens und seiner Achtung verlustig zu machen; weil jeder edle Mensch sich lieber sanften und mit Gründen unterstützten Widerspruch, als feige und parteiische Nachgiebigkeit gefallen läßt, und man diejenigen, die sich jemandes übereilten Urteilen und unzulässigen Wünschen bequemen, nach kälterer Beurteilung und ruhigerer Prüfung gewöhnlich mit tiefer Verachtung bestraft.




In früheren Jahren war *Kant* zwar keines Widerspruchs gewohnt. Sein durchdringender Verstand; sein ihm stets zu Gebot stehender, nach Umständen oft kaustischer Witz; seine ausgebreitete Gelehrsamkeit, vermöge welcher er sich in jedes Gespräch einlassen, sich keine fremde Meinung oder keine Unwahrheit aufbinden lassen durfte; seine allgemein anerkannte edle Gesinnung; sein strengmoralischer Lebenswandel, hatten ihm eine solche Superiorität über andere verschafft, daß er vor ungestümem Widerspruch sicher war. Wagte es dennoch jemand, in Gesellschaften ihm zu laut oder auf eine witzig sein sollende Art zu widersprechen, so wußte er durch unerwartete Wendungen das Gespräch so zu leiten, daß er alles für seine Meinung gewann, und so der kühnste Witzling schüchtern und stumm gemacht wurde. Es war daher eine kaum zu vermutende Erscheinung, daß er meine beigebrachten Gründe, zwar mit prüfendem Ernst, jedoch ohne Unwillen, ruhig anhörte. So liebenswürdig blieb der große Mann, auch selbst als schwacher Greis. Oft ohne den mindesten Anstand, ohne Einwendung gab er seinen heißesten Wunsch auf, wenn ich ihm denselben, als seiner Gesundheit nachteilig, vorstellte, und entsagte selbst langen Gewohnheiten, wenn ich ihn darauf aufmerksam machte, daß sein jetziger Zustand eine Änderung in denselben erfordere. Hatte er sich dann einmal aber an die neue bessere Ordnung der Dinge gewöhnt, und die Vorteile meiner Vorschläge eingesehen, so dankte er mir mit vieler Rührung für meine Beharrlichkeit. Ich vermied es sorgfältig, ihm, geradezu, zu widersprechen, wartete gemeinlich einen gelegenen Zeitpunkt, eine ruhigere Lage bei ihm ab, wiederholte aber dennoch unermüdet meine Vorschläge, wenn er ja einige derselben sogleich anzunehmen Bedenken trug, bis sie endlich durchgingen. Er schlug mir daher auch nie etwas geradezu ab. Seine Bitte um Dilation



der Ausführung eines Vorschlags war oft rührend; besonders wenn Wäsche gewechselt werden sollte. Ich machte daher schon frühere Anträge dazu, um durch einigen Aufschub doch nichts für seine Reinlichkeit zu verlieren. So sehr *Kant* zu dieser geneigt war, so angelegentlich protestierte er doch gegen die Anwendung jener Reinlichkeitsregel unter dem Vorwande, daß er nie transpiriere.


Mit jedem Tage nahm meine Anhänglichkeit an ihn zu. Welches empfindende Herz fühlt nicht das Ehrenvolle des Berufes, die Stütze eines ehrwürdigen Greises zu sein, der die Bürde des Alters so mutvoll und standhaft trug? Wer hätte nicht willig zu ihrer Erleichterung untertreten wollen? Ein vorteilhafter Umstand war es für mich, daß ich ihn schon morgens um 5 Uhr sprechen konnte. Erlaubten meine Geschäfte es nicht, die gewöhnliche Zeit zwischen 9 und 10 Uhr einzuhalten, so wählte ich die frühern Morgenstunden zu seinem Besuch. Jeder Tag brachte mir Gewinn, denn täglich entdeckte ich eine liebenswürdige Seite seines guten Herzens mehr; täglich erhielt ich neue Versicherungen seines Zutrauens. So verschieden auch die Situationen und Verhältnisse waren, in denen ich ihn zu beobachten Gelegenheit hatte; so habe ich doch stets große Tugenden neben nur kleinen Fehlern an ihm wahrgenommen.

Kants Größe als Gelehrter und Denker ist der Welt bekannt, ich kann sie nicht würdigen; aber die feinsten Züge seiner bescheidenen Gutmütigkeit hat keiner so zu beobachten Gelegenheit gehabt, als ich. Er wußte alles sorgfältig dem Auge anderer unbemerktbar zu machen, was zu seinem Lobe gereichen konnte. Nicht jedem ist es gegeben, die gut gemeinten Vorschläge eines andern, der tief unter ihm steht, mit Bereitwilligkeit anzunehmen und mit Festigkeit zu befolgen; und dennoch tat es dieser Mann. Denn bei seinem großen Verstande, der zwar bisweilen nur noch unter der




Asche loderte; aber auch oft in lichten, selbst blendenden Flammen wieder aufschlug, maßte er sich in diesen lichten Augenblicken keine Untrüglichkeit an; sondern benutzte sie vielmehr nur dazu, seinem Freunde für seine Vorkehrungen zu danken, und die Versicherungen des gegen ihn fortdauernden und vermehrten Zutrauens zu erneuern: wie ausgezeichnet tritt hier *Kant* aus der Reihe gewöhnlicher Menschen, die viele um Rat fragen, und keinen Rat befolgen! Er handelte konsequenter und von den beiden Alternativen: entweder nach seinem eigenen Gutdünken selbstständig und unerschüttert fest zu handeln; oder im Fall er dieses nicht tunlich fand, dem Rate dessen, dem er einmal sein Zutrauen geschenkt hatte, unbedingt zu folgen, wählte er die letztere. Nie verdarb er mir den kleinsten Plan durch eigene Dazwischenkunft, und nie machte er ein Geheimnis daraus, sich mir ganz hingegen zu haben. Dieses Betragen sowohl als manches vorteilhafte Zeugnis über meine Verfahrungsart jagte mir dann oft eine Schamröte ab; und da *Kant* in diesem Falle keine Schonung für mich gestatten wollte, so empfand ich oft, daß zu viel Güte peiniget. Was bisher nur Verbindung aus Bedürfnis und Umgang gewesen war, bildete sich nach und nach, ich darf es der Wahrheit gemäß sagen, zum freundschaftlichen Wohlwollen aus, dessen herzliche und fast zärtliche Ergießungen wörtlich anzuführen, die Bescheidenheit verbietet, die sich aber meinem Herzen auch umso stärker eindrückte, je ausgemachter es war, daß dieser gerade Mann nichts anders sagen konnte, als er wirklich empfand.

Kant hatte das blendende Paradoxon des Aristoteles adoptiert: Meine lieben Freunde, es gibt keine Freunde. Er schien dem Ausdrucke: *Freund* nicht den gewöhnlichen Sinn unterzulegen, sondern ihm so etwa, wie das Wort *Dienner* in der Schlußformel des Briefes oder im gewöhnlichen




Empfehlungsgruß zu nehmen. Hierin war ich mit ihm nicht einerlei Meinung. Ich habe einen Freund im vollen Sinne des Worts, dessen Wert es mir unmöglich machte, *Kants* Meinung beizustimmen. Bis hieher war *Kant* sich selbst genug gewesen, und hatte, da er Leiden nur den Namen nach kannte, keines Freundes bedurft. Jetzt durch seine Schwäche fast bis zum Hinsinken niedergedrückt, sah er sich nach einer Stütze um, ohne die er sich nicht mehr aufrechterhalten konnte. Als ich daher bei Gelegenheit seiner sehr andringenden Freundschaftsversicherung meinen Unglauben mit Beziehung auf jenes Paradoxon äußerte, war er offenerzig genug, zu gestehen, daß er jetzt mit mir einerlei Meinung sei und Freundschaft für keine bloße Chimäre halte.

Bei seiner Delikatesse und der sorgfältigsten Vermeidung alles Lästigwerdens stand er noch immer an, mir seine gesamten Angelegenheiten anzuvertrauen, so wie ich im Gegenteil auch nie für ihn mehr tat, als er von mir verlangte, oder was er mir freiwillig zugestanden hatte: nämlich ihm meine Vorschläge zu Erleichterung seines Zustandes, auch unaufgefordert, vorzulegen. Im November 1801 machte er mich mit seinem Wunsch bekannt, sein Vermögen und alles, was auf ihn nähern oder ferneren Bezug haben könnte, gänzlich abzugeben, und sich, wie man zu sagen pflegt, in Ruhe zu setzen. Er eröffnete mir dieses nach und nach, bat mich zuerst um die Gefälligkeit, sein vorrätiges Geld durchzuschießen und es nach den verschiedenen Münzsorten abzuteilen. Vermutlich hatte sich kurz vor diesem Antrage ein *Kant* auffallendes und ihm nicht so recht erklärbares Ereignis mit dem Gelde zugetragen. Er übergab mir zuerst die Schlüssel, die er sein Heiligtum zu nennen pflegte, zur Vollziehung seines Auftrages, und ging ins andre Zimmer. Ich wurde über diesen neuen Beweis seines Zutrauens verlegen, weil es mir nicht unbekannt war, daß in diesem Schranke die auf sein Vermögen sich beziehenden Papiere



befindlich waren, deren Inhalt er als ein Geheimnis bewahrte. Er kehrte bald aus seinem Zimmer zurück und bot mir die auf ihn geprägte Medaille zum Andenken an, gab mir auch, um sein Gesinde vor Verdacht der Entwendung nach seinem Tode zu sichern, ein schriftliches Schenkungsdokument darüber. Von wem und bei welcher Gelegenheit ihm diese Medaille gegeben worden, ist mir unbekannt. Wie man aber hat behaupten können daß sie ein Geschenk der Judenschaft gewesen für die Erklärung schwerer Stellen des Talmuds, worüber er ihnen Vorlesungen gehalten habe, ist mir unbegreiflich. *Kant* und der Talmud scheinen mir wenigstens zu heterogen, als daß sich beides miteinander auf irgendeine Art vereinigen ließe. Unerachtet der feierlichsten Versicherung seines Zutrauens zu mir, die er mir in dieser Stunde gab, und welches er, wie es der Erfolg bewies, auch wirklich in mich setzte, übernahm ich nicht leicht etwas von Bedeutung für ihn, ohne vorher wenigstens einen seiner übrigen Freunde zu Rate zu ziehen. Ich wählte dazu besonders Hrn. R. R. V.⁴³ —, einen durch seine ausgebreiteten Kenntnisse, edles Herz und große Bescheidenheit ausgezeichneten Mann, auf den *Kant* einen überaus großen Wert setzte, und mit dem ich, in den ersten Jahren der Tischfreundschaft *Kants*, lange Zeit hindurch an einem Tage in der Woche aß. Da ich seinen Namen nur mit dem Anfangsbuchstaben bezeichne, so erlaube ich mir, *Kants* eigenes Urteil über ihn, das er am Anfänge seine 80sten Jahres in sein Tagebüchlein geschrieben hatte, herzusetzen: „*Hr. V. sowohl in Ansehung seiner Laune und Denkungsart, als auch seiner Einsicht, als Menschenfreund und in Geschäften eine seltene Erscheinung.*“ Diesem Manne legte ich

⁴³ Regierungsrat Johann Friedrich Vigilantius (1757—1823), Jurist und Berater *Kants* in allen Rechtsangelegenheiten; er half ihm auch bei der Abfassung seines Testaments.




jeden meiner Einwürfe zur Notiz, Prüfung, Verbesserung und Genehmigung vor. Ich konnte mich dadurch teils gegen die, vielleicht sonst entstehenden Vorwürfe eines zu übereilten und willkürlichen Verfahrens gegen andere und mich selbst rechtfertigen; teils wirklichen Gewinn für *Kant*, aus der Zirkumspektion und Erfahrung dieses achtungswerten Mannes ziehen. *Kant* nahm überdem meine Vorschläge mit noch größerem Zutrauen an, sobald er erfuhr, daß ich mit Hrn. R.R.V. darüber Rücksprache genommen hatte.

Nachdem mir *Kant* seine Angelegenheiten einmal übergeben hatte, enthielt er sich, so viel es nur möglich war, aller eigenen Auszahlungen, tat schlechterdings nichts, ohne meinen Rat; wenigstens nie etwas ohne mein Vorwissen. Die untere Behörde mußte nie übergangen werden, und das Urteil der niedrigeren Instanz erhielt stets die Bestätigung der höhern.

Die erste Zeit nach der Übergabe wandte ich dazu an, um mit seinen Angelegenheiten und Papieren bekannt zu werden. Von letztem war nichts mehr vorhanden, als was auf sein Vermögen Bezug hatte. Er machte mich mit dem Bestande desselben bekannt und fügte hinzu: daß, obgleich er alles ehrlich erworben habe, die Größe desselben doch keiner wisse, als der, der es auf Zinsen an sich genommen hätte. Er wünschte, daß nur ich die Summe wissen, aber auch als Geheimnis bewahren möchte. Späterhin erlaubte er mir, Hrn. R. R.V. von allem Auskunft zu geben, da eintretende Umstände, über welche ich mit ihm Rücksprache zu nehmen hatte, es notwendig machten. Seine übrigen gelehrten Arbeiten und Papiere hatten zwei jetzt abwesende Gelehrte⁴⁴ in Empfang genommen. Von gelehrter Korrespon-

⁴⁴ Gottlob Benjamin Jaesche (1762—1842), Herausgeber von „Immanuel Kants Logik“ (Königsberg 1800) und Friedrich Theodor Rink (1770—1811), Herausgeber von „Immanuel Kant's




denz war kein Blatt vorhanden. Von seinem noch unvollendeten Manuskript soll unten Erwähnung geschehen.

Über manche zu meiner Notiz nötige Dinge und Familiennachrichten holte ich von ihm Nachricht ein, die er mir mit vieler Genauigkeit und ohne Zurückhaltung gab.


Zuerst fand ich aus Gründen notwendig, sein Geld an einen andern Ort und in einen andern Schrank, in versiegelten und mit Aufschriften versehenen Beuteln zur Aufbewahrung zu verlegen. Ich erlaube mir hier zur Rechtfertigung dieser Vorkehrung eine Unterbrechung des Zusammenhanges. Laut Testament war *Kants* Vermögen Anno 1798 42930 Gulden oder 14310 Taler, sein Haus und seine Mobilien nicht mitgerechnet. Seit der Zeit waren die Einkünfte von seiner Schriftstellerei und seinen Vorlesungen beinahe unbedeutend, weil er nunmehr weder schrieb noch las. Ein Kapital von 10000 Taler, das zu 6 vom H. ausgetan war, ging ein, und wurde nur zu 5 Prozent auf Ingrossation ausgeliehen; daraus entstand ein jährlicher Ausfall von 100 Taler Interessen in seinen Einkünften. Er gab 200 Taler jährlich zur Unterstützung seiner Verwandten mehr aus und mit seiner zunehmenden Schwäche wurden seine Ausgaben vermehrt. Lampe erhielt noch 40 Taler jährlich nach seiner Entlassung und bei seinem Tode war dennoch sein bares Geld über 17 000 Taler. Abgezählte Summen und ein hineingelegter Zettel, auf dem ihr Bestand verzeichnet war, lagen in dem Bureau, in dem vorher alles bare Geld aufbewahrt wurde, zu seinen kurrenten Ausgaben bereit. Ich überschob sie wenigstens zweimal in der Woche und ver-

physische Geographie“ (Königsberg 1802) und „Immanuel Kant über Pädagogik“ (Königsberg 1803). Beide waren in Kants Todesjahr nicht mehr in Königsberg; Rink war seit 1801 Oberpfarrer an der Dreifaltigkeitskirche zu Danzig, Jäsche Philosophieprofessor an der Universität Dorpat (Livland).




glich den Bestand mit den etwanigen Ausgaben, die *Kant* selbst, jetzt nur notgedrungen, machte. Ich glaube nicht zu irren, daß durch diese Vorkehrungen etwas gewonnen wurde. Die Schlüssel von beiden Geldbehältnissen hatte *Kant* selbst. Ich nahm sie nur bei Auszahlungen an mich und sobald ich die ausgezahlte Summe abgeschrieben hatte, händigte ich sie ihm wieder ein. Als einst eine Summe in meiner Abwesenheit ausgezahlt werden sollte, deren Größe den abgezählten Geldvorrat in seinem Bureau überstieg, so war *Kant* durch alle dringende Vorstellungen seines Dieners nicht zu bewegen, das noch Fehlende aus seinem großem Gelddepot, zu dem er doch den Schlüssel hatte, zu nehmen, und verschob die ganze Zahlung, bis ich kam, um meine Vorkehrungen nicht zu stören. Dieser Umstand bezeichnet deutlich den Mann von festen Grundsätzen und feiner Denkungsart, eröffnete mir eine beruhigende Aussicht für die Zukunft und bestärkte mich in der sichern Vermutung, daß ich auch bei seiner zunehmenden Schwäche keine erniedrigende Zumutung oder Beleidigung von ihm zu fürchten hätte. Vielmehr zeigten andere Umstände, wie genau und scharfsichtig er jede mit kleinen Aufopferungen verbundene Gefälligkeit zu würdigen wußte.

Bei meinen täglichen Besuchen traf mich oft, wie natürlich, auch üble Witterung. Er verkannte es aber nicht, daß ich mich nie über dieselbe beklagte; bemerkte es vielmehr, daß, wenn ich vom Regen durchnäßt oder von der Kälte erstarrt zu ihm kam, ich die Spuren der üblen Witterung vor dem Eintritte in sein Zimmer entweder zu vertilgen oder zu verhehlen suchte. Liberal bot er mir zu meinem jedesmaligen Besuch, ohne daß ich auf die Witterung Rücksicht zu nehmen hätte, einen Wagen auf seine Kosten an. Zwar machte ich von diesem Anerbieten nie Gebrauch, kann es aber zum Beweise seiner Feinheit und Erkenntlichkeit nicht füglich mit Stillschweigen übergehen.




Eben diese seine edle Dankbarkeit hält mich in der Erzählung seiner häuslichen Verfassung auf, den Faden derselben zu verfolgen; sie macht's, daß ich mir eine kleine Ausschweifung erlaube und einige Züge aus *Kants* früherem Leben hinzeichne. Bis zum höchsten Alter blieben seinem edlen Herzen die genossenen Wohltaten unvergeßlich und das Andenken an seine Wohltäter ihm heilig. Er tat jederzeit, was er sollte, und daher war Reue über unterlassene Pflicht eine ihm fremde Empfindung. Aber eine, mehr ehrenvolle als tadelnswürdige, Ausnahme fand statt. Er bedauerte es sehr, daß er es bis zur Zeit seines Unvermögens verschoben hatte, dem verdienstvollen *Franz Albert Schulz*, Doktor der Theologie, Pfarrer in der Altstadt und zugleich Direktor des Kollegii Fridericiani, ein Ehrendenkmal, wie er es nannte, in seinen Schriften zu setzen. Dieser große Menschenkenner entdeckte zuerst *Kants* große und seltene Anlagen und zog das unbemerkte Genie, das ohne seinen Beitritt vielleicht verkümmert wäre, hervor. Ihm verdankt *Kant* das, was er wurde, und die gelehrte Welt das, was sie durch seine Ausbildung gewann. *Schulz* beredete *Kants* Eltern, daß sie ihren Sohn studieren lassen möchten, und unterstützte ihn auf eine Weise, die mit *Kants* und seiner Eltern Ehrgefühl bestehen konnte, da sie einer baren Unterstützung auswichen. Er versorgte *Kants* Eltern mit Holz, das er ihnen gewöhnlich unverhofft und unentgeltlich anfahren ließ. Die eigene Äußerung *Kants* gegen mich über den Vermögenszustand seiner Eltern, von denen man so verschieden spricht, verdienen hier eine Stelle. Seine Eltern waren nicht reich, aber auch durchaus nicht so arm, daß sie Mangel leiden durften; viel weniger, daß Not und Nahrungssorgen sie hätten drücken sollen. Sie verdienten so viel, als sie für ihr Hauswesen und die Erziehung ihrer Kinder nötig hatten. Dem ungeachtet erinnerte sich *Kant* jener,




wenn gleich für die damalige Zeit nicht eben so bedeutenden Unterstützung, und der schonenden Delikatesse, mit welcher *Schulz* sie seinen Eltern und ihm, da er auf der Akademie war, zufließen ließ, lobte seinen edlen Charakter, den er schon im Hause seiner Eltern, die *Schulz* oft besuchte, kennen gelernt hatte und verdankte ihm die Empfehlung an seine Eltern: auf die Talente ihres Sohnes aufmerksam zu sein und ihre Ausbildung zu befördern, mit vieler Rührung.

Mit den regesten Gefühlen einer aufrichtigen Verehrung und kindlichen Zärtlichkeit dachte *Kant* an seine Mutter. Ich liefere die Geschichte so, wie ich sie aus einer doppelten Quelle geschöpft habe, theils wie sie mir *Kant* in den Stunden vertrauter Unterhaltung über Familienangelegenheiten, mit Weglassung der Umstände, deren Erwähnung seine Bescheidenheit verbot, erzählte, theils aus dem, was seine jetzt noch lebende Schwester hinzufügte, der die Erzählung der zum Lobe *Kants* reichenden Umstände eher anstand als ihm. Nach *Kants* Urtheil war seine Mutter eine Frau von großem natürlichen Verstande, den ihr Sohn als mütterliches Ertheil von ihr erhielt, einem edlen Herzen und einer echten, durchaus nicht schwärmerischen Religiosität. Mit der innigsten Erkenntlichkeit verdankte *Kant* ihr ganz die erste Bildung seines Charakters und zum Theil die ersten Grundlagen zu dem, was er später wurde. Sie hatte ihre Anlagen selbst nicht vernachlässiget und besaß eine Art von Bildung, die sie wahrscheinlich sich selbst gegeben hatte. Sie schrieb, nach dem wenigen zu urtheilen, was ich als Familiennachricht von ihrer Hand aufgezeichnet sah, ziemlich orthographisch. Für ihren Stand und ihr Zeitalter war das viel und selten. Durch *Schulz* aufmerksam gemacht, entdeckte sie auch selbst bald die großen Fähigkeiten ihres Sohnes, die natürlich ihr mütterliches Herz an ihn fesselten und sie veranlaßten, auf seine Erziehung alle nur mögliche




Sorgfalt zu verwenden. Da sie eine durchaus rechtliche Frau, ihr Gatte ein redlicher Mann und beide Freunde der Wahrheit waren; da aus ihrem Munde keine einzige Lüge ging; kein Mißverständnis die häusliche Eintracht störte; da endlich keine gegenseitigen Vorwürfe, in Gegenwart der Kinder, die Achtung derselben für ihre gutgesinnten Eltern schwächten: so wirkte dieses gute Beispiel sehr vorteilhaft auf *Kants* Charakter. Keine Fehler der Erziehung erschwereten ihm daher das Geschäft späterer Selbstbildung, die oft unvermögend ist, es gänzlich zu verhindern, daß jene nicht durchschimmern sollten. Seine Mutter nahm früh ihre Pflicht wahr: sie wußte bei ihrem Erziehungsgeschäfte Annehmlichkeit mit Nutzen zu verbinden, ging mit ihrem Manelchen (so verstümmelte mütterliche Zärtlichkeit den Namen Immanuel, mit dem sein Geburtstag, der 22. April, im Kalender bezeichnet ist), oft ins Freie, sie machte ihn auf die Gegenstände in der Natur und manche Erscheinungen in derselben aufmerksam, lehrte ihn manche nützliche Kräuter kennen, sagte ihm sogar vom Bau des Himmels so viel, als sie selbst wußte, und bewunderte seinen Scharfsinn und seine Fassungskraft. Bei manchen Fragen ihres Sohnes geriet sie dann freilich oft etwas ins Gedränge. Wer aber sollte eine solche Verlegenheit sich nicht sehr gern gewünscht haben? Sobald *Kant* in die Schule ging, noch mehr aber, als er auf der Akademie war, erhielten diese fortgesetzten Spaziergänge eine veränderte Gestalt. Was ihr unerklärbar war, konnte ihr Sohn ihr begreiflich machen. Daher eröffnete sich für diese glückliche Mutter eine doppelte Quelle der Freude: Sie erhielt neue, ihr unbekannte Aufschlüsse, nach denen sie so begierig war; sie erhielt sie von ihrem Sohne und mit denselben zugleich die Beweise seiner schnell gemachten Fortschritte, die ihre Aussichten für die Zukunft ungemein erheiterten. Wahrscheinlich waren bei aller müt-



terlichen Vorliebe, die die Erwartungen von Kindern so leicht zu vergrößern pflegt, doch dieselben nicht so weit gegangen, als *Kant* sie hernach übertraf, von denen sie aber den Zeitpunkt ihrer Erfüllung nicht erlebte. *Kant* bedauerte ihren Tod mit der liebevollen, zärtlichen Wehmut eines gutartigen und dankbaren Sohnes, und war in seinem letzten Lebensjahre bei der Erzählung der ihn veranlassenden Umstände jedesmal noch innig über ihren, für ihn so frühen Verlust gerührt. Ein merkwürdiger Umstand hatte ihn beschleuniget. *Kants* Mutter hatte eine Freundin, die sie zärtlich liebte. Letztere war mit einem Manne verlobt, dem sie ihr ganzes Herz, doch ohne Verletzung ihrer Unschuld und Tugend, geschenkt hatte. Ungeachtet der gegebenen Versicherung, sie zu ehelichen, wurde er aber treulos und gab bald darauf einer andern die Hand. Die Folge davon, für die Getäuschte, war ein tödliches hitziges Fieber, in welches Gram und Schmerz sie stürzten. Sie weigerte sich in dieser Krankheit, die ihr verordneten Heilmittel zu nehmen. Ihre Freundin, die sie auf ihrem Sterbebette pflegte, reichte ihr den angefüllten Löffel hin. Die Kranke weigerte sich, die Arznei zu nehmen und schützte vor, daß sie einen widerlichen Geschmack habe. *Kants* Mutter glaubte sie nicht besser vom Gegenteil überzeugen zu können, als wenn sie denselben Löffel mit Medizin, den die Kranke schon gekostet hatte, zu sich nehme. Ekel und kalter Schauer überfällt sie aber in dem Augenblick, als sie dieses getan hatte. Die Einbildungskraft vermehrt und erhöht beides, und da noch der Umstand hinzu kam, daß sie Flecken am Leibe ihrer Freundin entdeckte, die sie als Petechien erkennt, so erklärt sie sofort: diese Veranlassung sei ihr Tod, legt sich noch an demselben Tage und stirbt bald darauf als ein Opfer der Freundschaft.

So erkenntlich *Kant* gegen die Wohltaten seiner verstorbenen Freunde war, so billig war er auch in Beurteilung




seiner übrigen Nebenmenschen. Er sprach von keinem schlecht. Den Gesprächen, die auf grobe Laster der Menschen Bezug hatten, wich er gerne aus, als wenn die Erwähnung ihrer schlechten Handlungen den Wohlstand in der Unterhaltung redlicher Leute beleidigte. Minder strafbare Vergehungen und Verletzung der Pflichten schienen ihm wenigstens ein unwürdiger Gegenstand des Gesprächs zu sein, den er bald gegen einen würdigen verwechselte. Jedem Verdienste ließ er Gerechtigkeit widerfahren und suchte Leuten von Verdienst, ohne daß sie es wußten, zur Anstellung zu verhelfen. Keine Spur von Rivalität, viel weniger von Brotneid fand bei ihm statt. Er bemühte sich, dem Anfänger zu helfen und sein Fortkommen zu befördern. Mit der größten Achtung sprach er von seinen Kollegen. Sehr angelegentlich erkundigte er sich nach dem Befinden des Hrn. H. P. S.⁴⁵ bei dem Hausfreunde⁴⁶ desselben, der wöchentlicher an seinem Tische speisete. Von einem andern seiner Mitarbeiter und ehemaligen würdigen Zuhörer⁴⁷, der zwar nicht durch viele Schriften, desto mehr aber seine unermüdeten Vorlesungen und die darin bewiesene Gelehrsamkeit in so verschiedenen Fächern zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse wirkte, legte *Kant* als großer Menschenkenner ein sehr ehrenvolles Zeugnis ab. Er versicherte näm-

⁴⁵ Der (zweite) Hofprediger und Professor der Mathematik Johann Schultz (1739—1805), Freund Kants und Verteidiger seiner Philosophie, der 1789 bei G. L. Hartung in Königsberg das Buch veröffentlichte: „Prüfung der Kantischen Kritik der reinen Vernunft“.


⁴⁶ Johann Friedrich Gensichen (1759—1807), Mathematikprofessor an der Albertina, dem Kant seine Bücher vermachte.

⁴⁷ Christian Jacob Kraus (1753—1807), ab 1782 Professor der praktischen Philosophie und der Kameralwissenschaften an der Albertina. Er führte die Ideen Adam Smiths in Deutschland ein und legte die Grundlagen für die preußischen Reformen.




lich, daß in seiner vieljährigen Menschenbeobachtung ihm kein scharfsinnigerer Kopf, kein größeres Genie vorgekommen sei. Er behauptete, daß er zu jeder und der tiefsten Wissenschaft aufgelegt, und daß er alles, was der menschliche Verstand zu fassen fähig wäre, sich zu eigen machen könnte, und daß mit einer solchen Schnelligkeit, mit welcher er es vermochte, nicht leicht jemand ins Innere der Wissenschaften ein- dringen würde. Er setzte ihn Keplern zur Seite, von dem er behauptete, daß er, so viel er urteilen könnte, der scharfsinnigste Denker gewesen sei, der je geboren worden. Viele seiner Kollegen zog er an seinen Tisch und wußte eines jeden Vorzug gehörig zu würdigen. Dieses sein allgemeines Wohlwollen gegen Menschen machte es ihm daher unmöglich, von irgend einem Stande verächtlich zu denken oder zu sprechen, seine Verachtung traf unwürdige Mitglieder eines jeden Standes, die aber selten in laute Äußerungen überging.

Nach dieser Einschaltung knüpfte ich den abgerissenen Faden der Erzählung von *Kants* häuslichem Leben wieder an. *Kant* zeigte mir einige frühere Entwürfe seines Testaments, das er selbst deponiert hatte, in denen bald dieser, bald jener seiner Tischfreunde zu seinem Testamentsvollzieher ernannt, wieder ausgestrichen, und in denen zuletzt mein Name allein stehen geblieben war. Er erklärte dabei, daß er sich jetzt nicht mehr erinnere, ob er einen Testamentsvollzieher, viel weniger, wen er hierzu wirklich bestimmt habe, verlangte aber von mir, daß ich dieses Geschäft nach seinem Tode übernehmen sollte. Ich übernahm es mit der Bedingung, daß, wenn ein Testamentsvollzieher in seinem niedergelegten letzten Willen bestimmt wäre, dem er etwas für seine Bemühung zugesichert hätte, dieser auch das für ihn bestimmte nach seinem Tode nicht verlieren möchte. *Kant* fand diesen Vorschlag der Billigkeit ge-




mäß und übergab im Jahre 1801 den Deputierten des akademischen Senats einen Nachtrag zu seinem Testamente, in dem er mich, mit aller nach den Landesgesetzen möglichen Ausdehnung nach vorhergegangener Ratserholung bei seinen juristischen Freunden, als Testamentsvollzieher bestätigte. Den Tag zuvor war er etwas ängstlich, ob er auch etwas zu meinem Nachteil bei der Übergabe versehen würde, verlangte bei diesem Akt meine Gegenwart, an welche er bei allen seinen Unternehmungen sich gewöhnt hatte; ließ sich aber bedeuten, als ich ihm die Sache als unzulässig vorstellte, und willigte ein, daß ein anderer seiner Tischfreunde der Übergabe beiwohnte. Als ich nach vollbrachtem Akt mittags bei ihm aß, so leerte er ein Glas Wein mit dem Trinkspruche aus: Weil heute alles so gut gegangen, und setzte scherzend und lächelnd hinzu, und ohne Spektakel abgelaufen ist. Er sprach viel und froh über die heute vollbrachte Sache; doch so verblümt, daß der zweite Tischgast nicht wußte, wovon die Rede sei. Diese tropische Art, sich in Gegenwart eines ändern auszudrücken, war sonst *Kant* nicht eigen, nur heute erlaubte er sich eine Ausnahme. Durch kein förmliches Versprechen hatte ich mich irgendetwas für ihn zu tun verpflichtet. Dieses mir abzufordern, dazu war *Kant* zu diskret, und ich zu behutsam, ihm ein solches bestimmt zu geben, weil die Hindernisse, es zu halten, nicht vorauszusehen waren. Ohne vorhergegangene Erklärung waren wir beide fast miteinander einverstanden, und jeder Teil wußte, was er von dem andern zu erwarten hatte. Hätte *Kants* Schwäche eine solche Richtung genommen, daß ein freier Mann seine etwanige Behandlung und die Äußerungen seines Unwillens schlechterdings nicht hätte ertragen können, so war mir durch kein Versprechen der Rückzug zu einer verhältnismäßigen Entfernung benommen. Mit Offenherzigkeit gestehe ich meinen Zwei-




fel, wie ich bei seiner damaligen Schwäche es nicht für ganz unmöglich hielt, daß er etwa durch einen Machtspruch meine guten Vorkehrungen, z.B. in Absicht seines Gesindes, durch seine Schwäche verleitet, hätte vernichten, durch Nachgiebigkeit, in ihren unerlaubten und ihm nachtheiligen Zumutungen, die Partei desselben nehmen und mich dadurch kompromittieren können. Aber ich gestehe, daß ich ihm durch diese Vermutung Unrecht tat und ich zu schwach war, seine wahre Größe ganz zu fassen, denn, wenn er wegen Schwäche seines jetzt kürzern Gesichts mich bisweilen mit seinem Diener verwechselte und zu mir in einem Tone sprach, den er sonst gegen denselben anzunehmen gewohnt war; so war er jedesmal, sobald er seinen Irrtum erkannte, in einer peinlichen Verlegenheit, aus der deutlich zu ersehen war, daß er gerne die Meinung bei mir hervorbringen wollte, als hätte er sich im Gespräche nicht an mich gewandt, sondern wirklich zu seinem Diener gesprochen. Ich vermied daher, soviel als möglich, ihm diese Verwechslung bemerkbar zu machen. Gelang aber dieser Versuch nicht, so war sein Widerruf des Gesagten für mich beugend und peinigend.

In sein häusliches Verhältnis gehört auch sein erster Diener, *Martin Lampe*. Dieser war aus Würzburg gebürtig, Soldat in preußischen Diensten gewesen, und nach erhaltenem Abschiede vom Regiment in den Dienst bei *Kant* getreten, dem er gegen vierzig Jahre vorstand. Anfänglich, bei einer guten Führung, hielt *Kant* sehr viel auf ihn, und bezeugte sich gegen ihn sehr wohlthätig. Aber gerade diese Liberalität *Kants* wurde auch die Ursache, warum *Lampe* sich einer üblen Gewohnheit, zu welcher sein reichliches Auskommen ihn mit verleitete, hingab. Er mißbrauchte die Güte seines Herrn auf eine unedle Art, drang ihm Zulagen ab, kam zur un rechten Zeit nach Hause, zankte sich mit der




Aufwärterin, und wurde überhaupt mit jedem Tage unbrauchbarer zur Bedienung seines Herrn. Dieses veränderte Betragen brachte eine veränderte Gesinnung *Kants* gegen ihn unvermeidlich zuwege. Er faßte den Entschluß, sich von ihm zu trennen, der mit einem jeden Tage immer mehr seiner Ausführung entgegen reifte. Ich hatte Ursache, zu vermuten, daß die Äußerung desselben nicht eine bloße, leere Drohung oder ein Besserungsversuch für *Lampe*, sondern *Kants* wahrer Ernst sei, suchte letztem indessen mit Gründen wieder zu besänftigen und den Aufschub der Ausführung zu bewirken, besonders da ich voraus sahe, daß die Trennung unvermeidlich, aber auch mit großen Schwierigkeiten für *Kant*, mich, *Lampe* und seinen neuen Diener verbunden sein würde. Es sollte ein mit *Kant* grau, aber anstößig gewordener Diener abgeschafft werden. Beide hatten sich einander gewöhnt: ich sollte die Mittelsperson zwischen beiden sein. *Kant* hätte der Schritt gereuen und er darauf bestehen können, ihn wieder in sein Haus zu nehmen. — Wie weit wäre dann *Lampes* Brutalität gegen *Kant* und mich gegangen, wenn er einen so deutlichen Beweis seiner Unentbehrlichkeit erhalten hätte? Und wo war so leicht außer der Zeit ein treuer, an Eingezogenheit gewohnter Diener herzunehmen, der in *Kants* lange Gewohnheiten sich zu schicken gewußt haben würde? Ich suchte also diesen drohenden Blitzschlag oft und noch immer unschädlich abzuleiten; obgleich die Bekanntschaft mit *Kants* Charakter mit Sicherheit vermuten ließ, daß, wenn es ihm einmal rechter Ernst würde, *Lampen* zu entlassen, ihn nichts von seinem Vorsatze so leicht abbringen würde, wie dieses auch der Erfolg zeigte. Mit dem weichsten Herzen verband *Kant* den festesten Charakter aufs innigste. Gab er einmal sein Wort, so war dieses bei seiner unerschütterlichen Festigkeit mehr wert, als Eidschwüre anderer. Und diese Zuverlässig-



keit hat es mir oft erleichtert, seinen Wünschen, deren Erfüllung Erkältung, Indigestion oder andere Nachteile für ihn zur Folge gehabt haben würde, eine andere Richtung zu seinem Vorteil zu geben. Ich durfte nach vorgehaltenen Gründen, besonders nach dem, daß sein Körper das, was demselben in frühem Jahren möglich gewesen wäre, in den spätem nicht ertragen könnte, nur sein Wort zur Annahme meines Vorschlages einmal erhalten; und der sehnlichste Wunsch war vernichtet. Er hatte mir sein Versprechen gegeben: mir in nützlichen Dingen zu folgen und — er hielt's.


Einige seiner Tischfreunde behaupteten, daß sie die Beschwerden, die ich mit *Kant* hatte, um alles in der Welt nicht übernehmen wollten, und bedauerten mich; ich aber bedauerte mich selbst nie, und versichere, daß ich den Beistand, den ich *Kant* geleistet habe, keine Beschwerde nennen kann. Bei seiner Schwäche und Hilfsbedürftigkeit war ich ihm freilich Bedürfnis geworden, aber er mir gewiß noch weit mehr. Er sah mich gern, ich ihn gewiß noch lieber, und ich konnte keinen Tag ruhig zubringen, ehe ich ihn gesehen und mich seiner erfreut hatte, besonders in den letzten Jahren seines Lebens. Ich nahm bei seinen Besuchen, auch wenn sein Zustand mir nahe ging, nie einen kleinmütigen Ton an, den der Mann, der standhaft den herannahenden Übeln des Alters die Spitze bot, nicht leiden konnte. Er war nicht so weichlich, daß er bedauert werden wollte. Lebhaft und vertrauensvoll war meine Sprache, die ich gegen ihn führte. Und so bedurfte er keines leidigen Trostes. Mein Zuruf: *Non, si male nunc, sic erit et olim*⁴⁸, war ihm genug. Ein solcher unbefangener, freundschaftlicher Zuspruch erheiterte ihn bisweilen so, daß er mich oft

⁴⁸ (lat.) Auch wenn es jetzt schlecht ist, wird es in der Zukunft nicht so sein (Horaz, Oden Buch II, 10,17).




seinen Trost nannte; eine Benennung, die seine Schwäche aus ihm sprach. Rührend war für mich der öftere Anblick in den letzten Zeiten, da er so hilflos war, daß er nicht mehr lesen und schreiben konnte, ihn mit der Uhr in der Hand die Minute meiner Ankunft erwartend an der Türe sitzen zu finden. Er fühlte nach langer Einsamkeit das Bedürfnis der Unterhaltung sehr dringend. Konnte es da Beschwerde für mich sein, ihn täglich ohne Ausnahme zu besuchen?

Nach so vielen Jahren der Bekanntschaft, des Umgangs und (ich darf der Wahrheit gemäß den Ausdruck brauchen) der Vertraulichkeit, denn er hatte schon längst kein Geheimnis mehr für mich, konnte es nicht fehlen, daß wir uns einander so ziemlich kennen gelernt hatten. Wenn dann nun der Mann von einem auf geprüften Grundsätzen unerschütterlich festgebauten Charakter, mit vollem Bewußtsein dessen, was er sagte, gesetzt, ernst, entschlossen und vertrauensvoll sich in der Art gegen mich ausdrückte: „Liebster Freund, wenn Sie eine Sache für mich vorteilhaft finden, und ich nicht; wenn ich sie für unnütz und nachteilig halte, Sie sie mir aber anraten, so will ich sie billigen und annehmen“, und wenn dieser Mann das auch wirklich tat, wenn überdem bei gewissen Geschäften, wo die Mitwirkung anderer erfordert wurde, ein jeder dazu Aufgeforderte sich freute und beeiferte, für *Kant* mitzuwirken, wenn seine Aufträge von der Art waren, daß kein redlicher Mann sie auszuführen, auch nur einen Augenblick anstehen und sein Gewissen erst um Rat fragen durfte, wenn kein Widerstand zu fürchten, überall Beistand und Zuvorkommen zu erwarten war; so läßt sich wohl begreifen, daß die Übernehmung der Geschäfte *Kants* nicht eine solche Beschwerde war, als sie es beim ersten Anblick zu sein schien. *Kant* war und blieb der determinierte Mann, dessen schwacher Fuß oft, dessen starke Seele nie wankte.




Daher konnte ein solches kühnes Wagstück, als die Trennung seines alten Dieners von ihm, auch nur bei ihm allein versucht und glücklich ausgeführt werden. Schon ehe diese wirkliche Trennung eintrat, sahe ich die Unmöglichkeit ein, daß *Kant*, der bei der Schwäche seiner Füße oft fiel, der Wartung eines Dieners allein überlassen werden konnte, der sich selbst zu halten oft unvermögend war, und, aus sehr verschiedenen Ursachen, ein gleiches Schicksal mit seinem Herrn hatte. Überdem tat er durch Gelderpressungen, welche er aus Hoffnung, sich Frieden und Ruhe zu erkaufen, bewilligte, Lampens Neigung nur immer mehr Vorschub, und dieser sank tiefer. Hierzu kam noch, daß er durch das Verbot: von keinem andern, als von mir, Geld zu fordern, und durch den Ernst, mit dem ich ihm jeden Übertretungsfall verwies, in eine Art von Hoffnungslosigkeit wegen der Rückkehr des ihm so behaglichen Status quo versetzt wurde. Nachher sah er sich fast auf seinen Gehalt eingeschränkt, und er selbst fand nun den Dienst bei *Kant*, im Vergleich mit den vorigen bessern, goldenen Zeiten, nicht mehr so außerordentlich vorteilhaft. Eine andere Vorkehrung, an die ich oben dachte, mag vieles zur Verzweiflung an bessern Zeiten beigetragen haben. Gesetzt aber auch, alle diese Inkonvenienzen hätten nicht stattgehabt, so machte der Umstand, daß die Kräfte des Dieners *Kants* zusehends mehr abnahmen, es notwendig, auf die Besetzung seiner Stelle durch einen rüstigem und kraftvollem Mann bedacht zu werden. Ich hatte in Zeiten gehörige Vorkehrungen gemacht, und stand vor dem Bruche in voller Rüstung; suchte, fand und wählte einen Diener und erhielt ihn in einem Interimsdienst, von dem er sich an jedem Tag losmachen konnte. Oft sprach ich bald sanft, bald ernstlich mit *Lampe* über den immer mehr der Ausführung sich nahenden Entschluß seines Herrn, ihn abzuschaffen, machte ihn auf




sein trauriges Los für die Zukunft aufmerksam, gab ihm ziemlich verständliche Winke darüber, daß im Falle seiner guten Aufführung nicht allein er, sondern auch seine Gattin und sein Kind glücklich werden sollten, vereinigte mich mit seiner Gattin, die ihn mit Tränen bat, sein eigenes Wohl zu bedenken. Er versprach, besser zu werden und wurde — schlechter. Endlich kam der Tag im Januar 1802, an dem *Kant* das ihn beugende Geständnis ablegte: *Lampe* hat sich so gegen mich vergangen, daß ich es zu sagen mich schäme. Ich drang nicht in ihn und kenne dieses gewiß grobe Vergehen nicht. *Kant* bestand auf seine Abschaffung, zwar nicht mit Groll, doch aber mit männlichem Ernst. Seine Bitten an mich waren so dringend, daß ich noch früher als der andere Tischgast vom Tische aufzustehen mich gedrungen sah, und den in Bereitschaft stehenden Diener *Johann Kaufmann* holte. *Lampe* weiß von nichts, was vorgeht. *Kaufmann* kommt, *Kant* faßt ihn ins Auge, trifft auf der Stelle seinen Charakter und sagt: Er scheint mir ein ruhiger, ehrlicher und vernünftiger Mensch zu sein. Wenn er sich ganz nach den Anweisungen dieses meines Freundes zu richten gesonnen ist, so habe ich nichts wider ihn; nur alles, was der ihm sagt, muß er pünktlich tun; was der mit ihm abmacht, das billige ich auch, und das soll er richtig erhalten. *Kant* sorgte also bei der ersten Unterredung mit seinem Diener dafür, mich bei ihm in Ansehen zu setzen. Am folgenden Tage wurde *Lampe* mit einer jährlichen Pension entlassen, mit der gerichtlich verschriebenen Bedingung: daß dieselbe von dem Augenblicke an aufhöre, wenn *Lampe* oder ein von demselben Abgesandter, *Kant* behelligen würde.

Der Diener *Johann Kaufmann* war wie für *Kant* geschaffen und hatte bald wahre persönliche Liebe und Anhänglichkeit für seinen Herrn. Bei seinem Eintritt ins *Kant'sche* Haus bekam die bisherige Lage in demselben eine



ganz andere Gestalt zu ihrem Vorteil. Eintracht mit der Aufwärterin *Kants*, mit der *Lampe* vorhin im ewigen Streite lag, und mit der *Kaufmann*, wie es sein muß, umzugehen verstand, war nun im Hause des Philosophen einheimisch, das vorher durch manche überlaute Auftritte, von denen *Kant* wußte und nicht wußte, entweiht war. Nun konnte er ohne Verdruß, dessen Erregung durch manche ärgerliche Vorfälle auch beim Philosophen unvermeidlich war, seine Tage ruhig verleben. So großmütig er *Lampen* verzieh, so nötig fand er es doch auch, seine bisherige, für *Lampe* fast übermäßig wohlthätige Disposition zu ändern, und ihm nur die 40 Rthl. Pension auf seine Lebenszeit zu sichern. In dem zweiten, deshalb deponierten Nachtrage zu seinem Testamente zeigte er seinen Edelsinn und seine Großmut auf eine auffallende Art. Er veränderte den ihm vorgeschlagenen Anfang desselben, der so lautete: Die schlechte Aufführung des L. machte es notwendig usw. in den Ausdruck: Gegründete Ursachen usw. indem er sagte: „man kann ja den Ausdruck so mildern“. Sechszwanzig Tage nach *Lampens* Abschaffung wurde dieser Nachtrag deponiert, und vom gerechten Unwillen war keine Spur in demselben anzutreffen. *Lampe* ließ einen Dienstschein fordern, ich legte ihn *Kanten* vor. Lange sann er nach, wie er die leergelassenen Stellen für sein Verhalten füllen sollte. Ich enthielt mich jedes Rats dabei, welches seinen Beifall zu haben schien. Endlich schrieb er: er hat sich treu, aber für mich (*Kanten*) nicht mehr passend verhalten.

Je länger man mit *Kant* umging, desto mehr bisher ungekannte, vorteilhafte Seiten lernte man an ihm kennen, und desto verehrungswürdiger mußte er erscheinen. Das zeigte sich auch bei seiner jetzigen Veränderung. Er war an den kleinsten Umstand durch seine ordentliche und gleichförmige Lebensart eine lange Reihe von Jahren hindurch so ge-




wöhnt, daß eine Schere, ein Federmesser, die nicht bloß zwei Zoll von ihrer Stätte, sondern nur in ihrer gewöhnlichen Richtung verschoben waren, ihn schon beunruhigten, die Versetzung größerer Gegenstände in seinem Zimmer; als eines Stuhles, oder gar die Vermehrung oder die Verminderung der Anzahl derselben in seiner Wohnstube, ihn aber gänzlich störte, und sein Auge so lange an die Stelle hinzog, bis die alte Ordnung der Dinge wieder völlig hergestellt war.

Daher schien es unmöglich zu sein, daß er sich an einen neuen Diener gewöhnen könnte, dessen Stimme, Gang u. dgl. ihm ganz befremdend waren. Aber auch in seiner Schwäche behielt er Geistesstärke genug, sich endlich daran zu gewöhnen, was die einmalige Lage der Dinge, besonders, wenn sie durch sein Wort sanktioniert war, notwendig machte. Nur die laute Tenorstimme, das Schneidende und Trompetenähnliche derselben, wie er es nannte, war ihm an seinem neuen Diener empfindlich. „Er ist ein guter Mensch, aber er schreit mir zu sehr“, das war alles, was er mit einer Mischung von Sanftmut und klagender Ungeduld sagte. In einem Zeitraume von wenigen Tagen hatte dieser sich an einen leiseren Ton gewöhnt, und alles war gut.

Dieser neue Diener schrieb und rechnete gut und hatte in der Schule so viel gelernt, daß er jeden lateinischen Ausdruck, die Namen seiner Freunde und die Titel der Bücher richtig aussprach. Über diesen Punkt richtiger Benennung und Aussprache der Dinge und Wörter, waren *Kant* und *Lampe* stets uneins und lebten in einem ewigen Hader miteinander, der oft zu recht possierlichen Szenen Gelegenheit gab; besonders wenn *Kant* dem alten Würzburger die Namen seiner Freunde und die Titel der Bücher vorsagte.

In den mehr als dreißig Jahren, in denen *Lampe* wöchentlich zweimal die Hartungschen Zeitungen geholt und




wieder fortgetragen hatte, und wobei er jedesmal, damit sie nicht mit den Hamburger Zeitungen verwechselt würden, von *Kant* sie nennen hörte, hatte er ihren Namen nicht behalten können; er nannte sie die Hartmannsche Zeitung. „I was Hartmannsche Zeitung!“ brummte *Kant* mit finsterner Stirn. Darauf sprach er sehr laut, affektiv und deutlich: „Sag Er Hartungsche Zeitung.“ Nun stand der ehemalige Soldat geschultert und verdrießlich darüber, daß er von *Kant* etwas lernen sollte, und sagte im rauhen Ton, in dem er einst: Wer da? gerufen, *Hartungsche Zeitung*, nannte sie aber das nächste Mal wieder falsch.


Mit seinem neuen Bedienten kamen nun solche gelehrte Artikel ganz anders zu stehen. Fiel *Kant* ein Vers aus den lateinischen Dichtern ein, so konnte dieser ihn nicht allein ziemlich richtig aufschreiben, sondern lernte ihn auch bisweilen auswendig, und konnte ihn sogar rezitieren, wenn er *Kant* nicht gleich einfiel, welches der Fall mit dem Verse, *Utere praesenti; coelo committe futura*⁴⁹, war, den ich *Kant* in Augenblicken des Mißmuts, was am Ende bei seiner Schwäche mit ihm werden würde, vorsagte und den *Kant*, weil er ihn vorher nie gewußt hatte, oft wieder vergaß. Diesen sagte ihm sein Diener richtig vor. Ich war ihm bisweilen durch Übersetzung und Erklärung behilflich. Durch diesen Kontrast und auffallenden Abstich von *Lampe* wurde *Kant* zu dem öftern Zeugnis gegen seinen Diener vermocht: „Er ist ein vernünftiger und kluger Mensch.“

Ich hatte diesem neuen Diener den Tag vor dem Antritte seines Dienstes auf einem ganzen Bogen die kleinsten und unbedeutendsten Gewohnheiten und Gebräuche *Kants* nach der Tagesordnung aufgeschrieben, und er faßte sie mit Schnelligkeit. Er mußte mir vorher seine Manöuvres vorma-

⁴⁹ Nutze die Gegenwart; die Zukunft überlasse dem Himmel.



chen und so aufs Tempo geübt, trat er seinen Dienst an. Seine ersten Dienstleistungen gingen daher auch schon so geübt vonstatten, als wenn er jahrelang bei *Kant* serviert hätte. Ich war den größten Teil des ersten Diensttages zugegen, um durch Winke, die er trefflich verstand, alles zu leiten und den kleinsten Verstoß gegen *Kants* Gewohnheiten und Gebräuche zu hindern. Von diesen war ich durch langen Umgang mit ihm sehr genau unterrichtet, nur bei seinem Teetrinken war kein Sterblicher je, außer *Lampe*, gewesen. Um das Nötige anzuordnen, war ich um 4 Uhr morgens schon da. Es war der 1. Februar 1802. *Kant* stand wie sonst vor 5 Uhr auf, fand mich, es befremdete ihn mein Besuch sehr. Vom Schlafe nur erwacht, konnte ich ihm den Zweck meiner Gegenwart anfänglich nicht begreiflich machen. Nun war guter Rat teuer. Keiner wußte, wo und wie der Teetisch gesetzt werden sollte. *Kant* war durch meine Gegenwart, durch die Abwesenheit des *Lampe* und durch den neuen Diener verwirrt gemacht, konnte sich in nichts finden, bis er endlich so recht aus dem Schlafe zu sich selbst kam. Nun setzte er sich den Teetisch selbst hin; aber es fehlte noch immer etwas, was *Kant* nicht angeben konnte. Ich sagte, ich wollte mit ihm eine Tasse Tee trinken und eine Pfeife mit ihm rauchen. Er nahm dieses nach seiner Humanität hoch auf, ich sah ihm aber den Zwang an, den er sich dabei antat. Er konnte sich immer nicht finden. Ich saß gerade über ihm. Endlich kam er darauf und bat mich sehr höflich, ich möchte mich so setzen, daß er mich nicht sehen könne; denn seit mehr als einem halben Jahrhundert habe er keine lebendige Seele beim Tee um sich gehabt. Ich tat, was er verlangte, *Johann* ging in die Nebenstube, und kam nur dann, wenn *Kant* ihn rief. Nun war alles recht, *Kant* war gewohnt, wie ich schon oben erinnerte, seinen Tee allein zu trinken und bei demselben ganz ungestört seinen Ideen



nachzuhängen. Ob er gleich jetzt nicht mehr las oder schrieb,

so war die Schwungkraft vieljähriger Gewohnheit auch noch jetzt sehr stark bei ihm, und er konnte keinen um sich dulden, ohne in die größte Unruhe versetzt zu werden. Ebenso lief es ab, als ich an einem schönen Sommermorgen einen ähnlichen Versuch machte.

Nun waren wir in alle Geheimnisse der Gewohnheiten *Kants* eingeweiht, und am folgenden Tage ging's mit dem Teetrinken besser. Noch lange sah *Kant* meinen ersten Morgenbesuch als Traum oder Zauber an.


Nun ging alles mit dem neuen Diener nach Wunsch. *Kant* holte nun freier Luft, lebte ruhig und zufrieden. Schlich sich ein kleiner Fehler in seiner Bedienung ein, so beschied er sich selbst, daß ein neuer Diener noch nicht ganz vertraut mit seinen kleinsten Gewohnheiten sein könne.

Ein sonderbares Phänomen von *Kants* Schwäche war folgendes. Gewöhnlich schreibt man sich auf, was man nicht vergessen will; aber *Kant* schrieb in sein Büchelchen: der Name *Lampe* muß nun völlig *vergessen* werden.

Kant fand es anstößig, wie auch schon im Freimütigen bemerkt worden, seinen Diener *Kaufmann* zu nennen, weil er zwei gebildete Kaufleute wöchentlich an seinen Tisch zog.


Bei einem frohen Mittagmahl wurde daher nach Hershagung eines sehr possierlichen Verses, den ich hier nicht anführen mag und dessen Schluß heißt: „Er soll *Johannes* heißen“, beschlossen, den Diener nicht Kaufmann, sondern *Johannes* für die Zukunft zu nennen.

Um diese Zeit, nämlich im Winter 1802, zeigte sich jedesmal nach dem Essen, auf der rechten Seite seines Unterleibes, eine Erhöhung von einigen Zollen im Durchmesser der Fläche, die sich sehr verhärtet anfühlen ließ und ihn nötigte, jedesmal nach der Mahlzeit seine Kleider zu öffnen,




weil sonst der Unterleib zu gepreßt war. Obgleich dieser Zufall keine besondere Beschwerde und Folgen für ihn hatte, so währte er doch ein halbes Jahr; wurde aber ohne alle Heilmittel besser, dergestalt, daß er nach einer mit vielem Appetit geendigten Mahlzeit seine Kleidungsstücke nicht mehr lüften durfte. So schwach auch sein Körper war, so hatte er doch noch Ressourcen in sich selbst, um Übeln vorzubeugen und selbst die, die schon Wurzel geschlagen hatten, auszurotten.

Im Frühlinge riet ich ihm an, sich Bewegungen zu machen. Schon seit vielen Jahren war er nicht ausgegangen, weil er auf seinen letzten Spaziergängen sehr abgemattet wurde. Öffentlicher, herzlicher Dank sei dem unbekanntem Manne von mir gebracht, der so viel Aufmerksamkeit für den schwachen, ermüdeten Greis hatte, daß er gleich nach der gemachten Bemerkung, daß *Kant* sich bei seinen Spaziergängen am Lizent theils vor Ermüdung, theils der Aussicht wegen an eine Mauer lehne, eine Bank für ihn aufschlagen ließ, die *Kant* mit Dank benutzte, ohne zu wissen, von wem sie herrühre. Es war nicht ratsam, ihm wegen der Schwächlichkeit in seinen Füßen eine Bewegung zu Fuß zu empfehlen. Da einige angestellte Versuche nicht den erwarteten Erfolg für ihn hatten, so waren die Bewegungen im Wagen vorzuziehen. *Kant* besuchte seinen Garten, der Regel nach, nie. Als er aber nach vielen Jahren, in denen er ihn nicht gesehen hatte, im Frühlinge 1802 hinein geführt wurde, so war die Erscheinung ihm so neu, daß er sich in demselben gar nicht orientieren konnte. Meine Auskunft, die ich ihm über die Lage desselben und den Zusammenhang mit seinem Hause geben wollte, schien ihm lästig zu werden. Er sagte: Er wisse gar nicht, wo er sei, fühlte sich beklommen, wie auf einer wüsten Insel und sehnte sich dahin, wo er gewesen war. Alle diese Erscheinungen waren Folgen von




der Gewohnheit, sich stets unter den Gegenständen seiner Studierstube aufzuhalten, die ihn jetzt nicht umgaben, deren Abwesenheit ihm Sehnsucht nach ihnen erregte und ihn beklommen machte. Zur Erklärung der sonderbarsten Erscheinungen, die von *Kants* Schwäche entstanden, durfte man oft nur einen unbedeutenden Umstand wissen, und alles Rätselhafte dabei löste sich schnell auf. Durch steten Umgang mit ihm, konnte ich mich ihm sehr leicht verständlich machen. Mir waren daher auch diese seine sonderbaren und jeden Andern befremdenden Äußerungen in seinem Garten und auch ähnliche nicht auffallend. Obgleich der Aufenthalt in freier Luft nur wenige Augenblicke dauerte, so war er doch von ihr etwas benommen. Indessen war doch schon ein Schritt zur Wiederangewöhnung der Luft getan, die *Kant* so lange nicht eingeatmet hatte. Die wiederholten Versuche waren von besserm Erfolg begleitet. Er trank bisweilen eine Tasse Kaffee, welches er vorher nie getan hatte, in seinem Garten, und fand überhaupt eine Veränderung seiner bisherigen Lage behaglich. Es kam bei ihm nur auf Vorschläge an, die ein Anderer ihm machte. Er selbst wäre schwerlich auf den Einfall gekommen, eine Abwechslung zu wagen.

Schon früher machte der Frühling auf ihn keinen sonderlichen Eindruck, er sehnte sich nicht wie ein anderer am Ende des Winters nach dem baldigen Eintritt dieser erheitenden Jahreszeit. Wenn die Sonne höher stieg und wärmer schien, wenn die Bäume ausschlugen und blühten und ich ihn dann darauf aufmerksam machte; so sagte er kalt und gleichgültig: „Das ist ja alle Jahre so, und gerade ebenso.“ Nur ein Ereignis machte ihm aber auch dafür desto mehr Freude, so, daß er die Rückkehr desselben nicht sehlich genug erwarten konnte. Schon die Erinnerung im angehenden Frühlinge, daß er bald eintreten würde, erheiterte ihn



lange voraus; der nähere Eintritt machte ihn täglich aufmerksamer und spannte seine Erwartung aufs höchste; der wirkliche aber machte ihm große Freude. Und diese einzige Freude, die ihm noch die Natur bei dem sonst so großen Reichtum ihrer Reize gewährte, war — die Wiederkunft einer Grasmücke, die vor seinem Fenster und in seinem Garten sang. Auch im freudenleeren Alter blieb ihm diese einzige Freude noch übrig. Blieb seine Freundin zu lange aus, so sagte er: „Auf den Apenninen muß noch eine große Kälte sein“; und er wünschte dieser seiner Freundin, die entweder in eigener Person oder in ihren Abkömmlingen ihn wieder besuchen sollte, mit vieler Zärtlichkeit eine gute Witterung zu ihrer weiten Reise. Er war überhaupt ein Freund seiner Nachbarn aus dem Reiche der Vögel. Den unter seinem Dache nistenden Sperlingen hätte er gerne etwas zugewandt, besonders wenn sie sich an die Fenster seiner ruhigen Studierstube anklammerten, welches sehr oft, wegen der darin herrschenden Stille, geschah. Er wollte aus dem melancholischen, eintönigen und oft wiederholten Gezwitscher derselben auf die beharrliche Sprödigkeit der weiblichen Sperlinge schließen, nannte diese melancholischen Stümper von Sängern: Abgeschlagene und Kümmerer, wie bei den Hirschen, und bedauerte diese einsamen Geschöpfe. Als Züge seiner Gutmütigkeit auch selbst gegen Tiere, die man zu vertilgen sucht, glaubte ich diesen Umstand nicht übergehen zu müssen, weil auch kleine lichte Striche zum lebhaften Kolorit des Gemäldes das ihrige beitragen, und wie viele solcher kleiner Striche und Punkte sind nicht im Charaktergemälde *Kants* anzutreffen, die das Ganze erheben!


Er wurde immer vertrauter mit der ihm ganz fremd gewordenen freien Luft, und es ward nun ein heroischer Versuch zu einer Ausfahrt gemacht. *Kant* weigerte sich, ihn zu



wagen. Ich werde wie ein Waschlappen im Wagen zusammenfallen, sagte er. Ich bestand mit sanfter Beharrlichkeit auf den Versuch, nur durch die Straße, in der er wohnte, mit ihm zu fahren, mit der Zusicherung, sogleich umzukehren, wenn er das Fahren nicht ertragen könne. Nur spät im Sommer bei einer Wärme von 18 Grad nach Reaumur wurde dieser Versuch gemacht. Hr. C. R. H.⁵⁰, ein würdiger, treuer, unverdrossener und bis ans Ende ausdauernder Freund *Kants*, war unser Begleiter auf dieser Spazierfahrt nach einem kleinen Lustort vor dem Steindamschen Tore, den ich mit einem andern meiner Freunde auf einige Jahre gemietet habe. *Kant* verjüngte sich gleichsam, als er die ihm bekannten Gegenstände nach einigen Jahren wieder sah, wieder kannte und die Türme und öffentlichen Gebäude zu nennen wußte. Wie freute er sich nun aber, daß er so viel Kräfte hätte, aufrecht zu sitzen und sich, ohne besondere Beschwerde zu fühlen, im Wagen wacker rütteln lassen konnte. Wir kamen froh an den Ort unserer Bestimmung. Er trank eine Tasse Kaffee, die schon bereitet stand, versuchte eine halbe Pfeife zu rauchen, welches nie vorher außer der Zeit der Fall gewesen war, hörte die Menge Vögel, die sich an diesem Orte häufig aufhalten, mit Wohlgefallen singen, unterschied jeden Gesang und nannte jeden Vogel; hielt sich etwa eine halbe Stunde auf und fuhr ziemlich heiter, doch des Vergnügens satt, nach Hause.


Ich wagte es nicht, ihn an einen öffentlichen, häufig besuchten Ort hinzuführen, um ihn nicht den ihm vielleicht lästigen Blicken der Neugierigen zu sehr auszusetzen, und durch die peinliche Lage eines genau Beobachteten sein Vergnügen zu stören. Das Publikum hatte ihn lange nicht

⁵⁰ Konsistorialrat Johann Gottfried Hasse (1759—1806), Professor der Theologie an der Albertina.



gesehen; sobald daher der Wagen nur vor seiner Türe stand, so hatten auch selbst Leute von Stande sich um denselben schon versammelt, um *Kant* noch vielleicht zum ersten und letzten Male zu sehen. Nach einigen Besuchen in meinem, an meiner Wohnung gelegenen Garten endeten sich mit dem eintretenden Herbste unsere Ausfahrten für dieses Jahr. Die Bewegungen ermüdeten zwar *Kant*; aber er schlief ruhiger in der folgenden Nacht und war den Tag darauf heiterer und gestärkter, auch schmeckten und bekamen die Speisen ihm besser.

Bei herannahendem Winter klagte er mehr als sonst über einen Zufall, den er die Blähung auf dem Magenmunde nannte, und den kein Arzt erklären, viel weniger heilen konnte. Ein Aufstoßen war ihm wohltätig, der Genuß der Speisen schaffte ihm kurze Erleichterung, machte ihn sein Übel vergessen und stimmte seinen Mißmut etwas um. Der Winter ging unter öftern Klagen dahin: er wünschte, des Lebens müde, am Ziele zu sein und sagte: „er könne nicht mehr der Welt nützen und wisse nicht, was er mit sich anfangen solle.“ Sein Zustand war rätselhaft, da er keine Schmerzen fühlte, und sein ganzes Benehmen und seine Äußerungen doch auf die unangenehmsten körperlichen Empfindungen schließen ließen. Ich erheiterte ihn mit dem Gedanken künftiger Ausfahrten im Sommer: diese nannte er in zunehmender Gradation zuerst Fahrten, sodann Reisen ins Land und endlich weite Reisen. Er dachte mit einer an Ungeduld grenzenden Sehnsucht an den Frühling und Sommer, nicht ihrer Reize wegen, sondern nur als der zu Reisen geschickten Jahreszeiten; schrieb sich frühe in sein Büchelchen: „Junius, Julius und August sind die drei Sommermonate“ (nämlich in denen man am besten reisen kann). Das Andenken an diese Reisen tat Wunder zur Erheiterung *Kants*. Seine Art, etwas zu wünschen, war so sympathisch,




daß man es bedauerte, durch keine Zauberkraft seine Sehnsucht stillen zu können.

Jetzt ließ er bei abnehmender Lebenswärme oft sein Schlafzimmer heizen. Er vergönnte aber nicht leicht jemandem den Zutritt in dasselbe. In dieser Stube standen auch seine Bücher, etwa 450 an der Zahl, die zum Teil Geschenke von ihren Verfassern waren. Da er in frühern Jahren Bibliothekar der hiesigen königl. Schloßbibliothek gewesen war, in der sich so manche vortreffliche Werke und besonders Reisebeschreibungen, die eigentliche Goldgrube für seine physische Geographie, befanden; da er ferner von seinem Verleger die neuesten Sachen zur Ansicht erhielt, so konnte er leichter als ein anderer akademischer Lehrer einer zahlreichen Büchersammlung entbehren.


Gegen das Ende des Winters fing er an, über unangenehme, ihn aufschreckende Träume zu klagen. Oft tönnten Melodien der Volkslieder, die er in der frühesten Jugend von Knaben auf der Straße singen gehört hatte, ihm lästig in den Ohren und er konnte sich bei aller angestregten Abstraktionskraft nicht davon losmachen. Läppische Schulschnurren aus den Kinderjahren fielen ihm oft ein. Darf ich eine anführen? Vacca, eine Zange, forceps, eine Kuh, rusticus, ein Knebelbart; ein nebulo bist du⁵¹. Man will behaupten, daß im höchsten Alter dergleichen Läppereien den Greisen lästig werden und sie durch unwillkürliche Rückkehr martern. Bei *Kant* war dieses der Fall. Sowohl diese als auch ähnliche sinnlose Verse, sowie seine Träume störten ihn des Nachts, jene verzögerten sein Einschlafen, diese scheuchten ihn fürchterlich auf, wenn er noch so fest schlief, und raubten ihm die nächtliche Ruhe, dieses stärkende Erho-

⁵¹ (lat.) vacca — Kuh; forceps — Zange; rusticus — grober Bauer, Bauernlummel, plump; nebulo — Taugenichts, Schuft.



lungsmittel für schwache Greise. Fast in jeder Nacht zog er nun die durch die Decke seines Schlafzimmers geleitete Klingelschnur, die die Glocke in der über seinem Bette befindlichen Bedientenstube in Bewegung setzte. So schnell auch der Bediente aufstehen und herabeilen mochte, so kam er doch stets zu spät. Er fand seinen Herrn, der schon aus dem Bette gesprungen war, und der, wie schon erwähnt ist, das Zeitmaß gänzlich verloren hatte, oft schon im Vorhause. Seine Schwäche in den Füßen, die, sogleich nach dem Aufstehen vornehmlich, durch die horizontale Richtung des Körpers, in der *Kant* stundenlang sich fast steif gelegen hatte, vermehrt war, verursachte manche Fälle, die, die blauen Stellen abgerechnet, für ihn nicht schädlich waren, deren Folgen aber, wenn ihnen nicht in Zeiten Einhalt getan worden wäre, hätten tödlich werden können.


Ich entschloß mich daher, *Kant* einen Vorschlag zu machen, von dem ich freilich mit ziemlicher Sicherheit vermuten konnte, daß er die Annahme desselben so lange als möglich verweigern würde, nämlich den: seinen Bedienten mit ihm in einem Zimmer schlafen zu lassen. Ich kannte die Macht langer Gewohnheit auf *Kant*. Er sträubte sich, doch stets mit sanfter Heiterkeit, dagegen. Ich hielt ihm seine willkürlich gegebene Versicherung vor, daß er, wenn er den Nutzen eines Vorschlages auch nicht einsähe oder ihn unnötig fände, ihn doch annehmen wollte, und die Sache war nach meinen Wünschen abgemacht. Es ertönten anfänglich noch manche Klagen, daß die Gegenwart eines Andern ihn im Schläfe störe; ich berief mich aber auf die Notwendigkeit der Sache, und auf sein mir gegebenes Versprechen, meinen Vorschlägen zu folgen, und bald verhallten auch die letzten Klagen. Nach kurzer Zeit dankte *Kant* mir herzlich für diese Maßregel: sie vermehrte nicht nur sein Zutrauen zu mir, sondern beschleunigte auch die Annahme und Befolgung der übrigen, die ich seinetwegen traf.



Seine Beängstigungen oder Blähungen auf dem Magenmunde wurden nun immer heftiger. Er versuchte sogar den Gebrauch einiger Arzneimittel, wogegen er sonst geehrt hatte: einige Tropfen Rum auf Zucker, Naphtha, Bittererde, Blähzucker; doch das alles waren nur Palliative und eine Radikalkur verhinderte sein hohes Alter. Seine furchtbaren Träume wurden immer schrecklicher und seine Phantasie setzte aus einzelnen Szenen der Träume ganze furchtbare Trauerspiele zusammen, deren Eindruck so mächtig war, daß ihr Schwung noch lange im Wachen bei ihm fortwirkte. Er dünkte sich fast nächtlich mit Räubern und Mördern umgeben. In furchtbarer Progression ging diese nächtliche Beunruhigung durch Träume dergestalt fort, daß er in den ersten Augenblicken nach dem Erwachen seinen, ihm zur Beruhigung und Hilfe eilenden Diener für einen Mörder ansah. Wir sprachen am Tage über die Nichtigkeit seiner Furcht; *Kant* belachte sie selbst und schrieb sich in sein Büchelchen: Es muß keine *Nachtschwärmerei* stattfinden.


Daß *Kants* Schlafzimmer absichtlich verfinstert war, ist schon gesagt. Sah er nun draußen Dämmerung oder noch Tageslicht, so hielt er dieses für künstliche Betrügerei, die ihn furchtsam machte. Es wurde also auf meinen Vorschlag des Nachts Licht gebrannt. Anfangs konnte er dieses nicht leiden; allein es wurde zuerst vor die Stubentür und späterhin ins Zimmer selbst in einen Nachtleuchter, welcher zur Vermeidung alles Schadens in einer Schale mit Wasser stand, gesetzt, doch so, daß der Schein davon ihn nicht traf. Auch an diese Veränderung gewöhnte er sich bald.

Er fing nun an, sich immer uneigentlicher auszudrücken. Er wünschte bei seiner jetzt oft eintretenden Schlaflosigkeit eine Schlaguhr; ich lieh ihm eine. Ob sie gleich nur eine simple Schlaguhr war, so nannte er, der keine Töne in der Nacht zu hören gewohnt war, die Töne derselben eine



Flötenmusik und bat mich täglich, sie ihm doch zu lassen. Er wiederholte seine Bitte und ich meine feierliche Versicherung, sie nicht eher zurückzunehmen, bis er sie nicht länger haben wollte. Bald aber klagte er über Störung, die die helle Glocke ihm machte. Ich überzog den Hammer mit Tuch und die Störung war gehoben.

Sein Appetit war jetzt nicht mehr so gut als gewöhnlich. Diese verminderte Eblust schien mir keine gute Vorbedeutung zu sein. Man will behaupten: *Kant* habe der Regel nach eine stärkere Mahlzeit zu sich genommen, als gewöhnlich ein Mann von fester Gesundheit zu sich zu nehmen pflegt. Ich kann mich aus folgendem Grunde nicht davon überzeugen. *Kant* aß nur einmal des Tages. Rechnet man das alles zusammen, was der genießt, der des Morgens Kaffee trinkt, Brot dazu ißt, wohl noch ein zweites Frühstück zu sich nimmt, dann eine gute Mittagsmahlzeit, und endlich ein Vesper- und Abendbrot hält, so war die Masse der von *Kant* genossenen Speisen nicht eben so groß, besonders da er nie Bier trank. Von diesem Getränke war er der abgesagteste Feind. Wenn jemand in den besten Jahren seines Lebens gestorben war, so sagte *Kant*: „Er hat vermutlich Bier getrunken.“ Wurde von der Unpäßlichkeit eines Andern gesprochen, so war die Frage nicht fern: „Trinkt er abends Bier?“ Aus der Antwort auf diese Frage stellte dann *Kant* dem Patienten die Nativität. Er erklärte das Bier für ein langsam tötendes Gift, wie der junge Arzt den Kaffee, bei dem er Voltairen eben antraf; allein die Antwort, die jener Arzt von Voltaire erhielt: „Langsam tötend muß dieses Gift wohl sein, weil ich es schon gegen 70 Jahre genieße“, würde *Kant* von echten Biertrinkern nicht leicht erhalten haben. Zu leugnen ist nicht, daß das viel für sich habe, was *Kant* behauptete, daß Wegschwemmung der Verdauungssäfte, Verschleimung des Blutes und Erschlaffung der Wasserge-




fäße, Folgen des häufigen Genusses dieses Getränkes wären, deren Wirkungen durch eine bequeme Lebensart noch mehr beschleunigt werden. *Kant* wenigstens nahm das Bier als die Hauptursache aller Arten von Hämorrhoiden an, die er nur dem Namen nach kannte. Es gab freilich eine Zeit, in der er etwas davon bemerkt haben wollte; aber sein Körper bedurfte keines *beneficii naturae*⁵² und *Kant* gestand, daß er sich geirrt habe. Unausstehlich waren ihm alle Menschen, die immer genießen: es war amüsant zu hören, wie *Kant* alle Arten von Genüssen solcher Schlemmer herzuzählen wußte und ihren ganzen Lebenstag schilderte. Bei dieser Schilderung war es aber auch bemerkbar, daß sein Gemälde nur ein Ideal war.

Im Frühling seines letzten Lebensjahres, am 22. April, wurde sein Geburtstag im Kreise seiner gesamten Tischfreunde recht anständig und fröhlich gefeiert. Lange vorher war dieses Fest ein ihn erheiternder Gegenstand unserer Gespräche und es wurde lange vorher nachgerechnet, wie weit es noch entfernt sei. Er freute sich lange voraus auf diesen Tag. Aber auch hier bestätigte es die Erfahrung, daß seine jetzigen Freuden mehr in der Erwartung und angenehmen Phantasie bestanden als im Genusse selbst. Die Hoffnung, seinen alten Freund, den Kriegsrat S.⁵³, in dessen Gesellschaft er im Hause des verstorbenen G. R. von Hippel⁵⁴ so viele frohe Stunden seines Lebens zugebracht hatte, wieder um sich zu sehen, erheiterte ihn ungemein. Schon die Nachricht, wie weit man in Besorgung des zu diesem

⁵² (lat.) Wohltat der Natur

⁵³ Johann George Scheffner (1736 — 1820), Jurist, veröffentlichte freizügige Gedichte.


⁵⁴ Geheimrat Theodor Gottlieb v. Hippel (1741 — 1796), Bürgermeister von Königsberg und Schriftsteller



Feste Erforderlichen gekommen sei, entlockte ihm den frohen Ausruf: O das ist ja herrlich! Als der Tag kam und die Gesellschaft versammelt war, wollte er zwar froh sein; hatte aber dennoch keinen wahren Genuß von derselben. Das Geräusch bei der Unterhaltung einer zahlreichen Gesellschaft, der er entwöhnt war, schien ihn zu betäuben, und man merkte wohl, daß es die letzte Versammlung in der Art und zu diesem Zwecke sein würde. Er kam nur erst recht zu sich selbst, als er ausgekleidet in seiner Studierstube mit mir allein war und mit mir über die seinen Domestiquen zu gebenden Geschenke gesprochen hatte. Denn nie konnte *Kant* froh sein, wenn er nicht andere um sich her zufrieden sah. Daher bestand er bei jeder Spazierfahrt auf ein Geschenk für seinen Diener. Ich wollte ihn nun seine Ruhe genießen lassen und empfahl mich ihm auf die sonst gewöhnliche Art. Er war stets wider alles Feierliche und Ungewöhnliche, wider alle Glückwünsche bei solchen Gelegenheiten, besonders aber wider ein gewisses Pathos bei denselben, in dem er immer etwas Fades und Lächerliches fand. Für meine geringe Bemühungen bei Anordnung dieses Festes dankte er mir dieses Mal auf eine ganz unproportionierte Art und durch Äußerungen, die nur sichere Beweise einer ihn übermannenden Schwachheit waren. Vielleicht trug der Gedanke, nun ein so hohes Alter erreicht zu haben, zu seiner Rührung bei und erhöhte seinen Dank zu exaltierten Ausdrücken. Unter dem 24. April 1803 schrieb er in sein Büchelchen: „Nach der Bibel: unser Leben währet 70 Jahr und, wenn’s hoch kommt, 80 Jahr und wenn’s köstlich war, ist es Mühe und Arbeit gewesen“⁵⁵


Der Sommer näherte sich und nun sollten jene projizierten weiten Reisen ins Land und Ausland anfangen. Eines

⁵⁵ Psalm 90, 10




Tages, als ich ihn früh besuchte, wurde ich ganz betroffen, als er mir mit gesetztem Ernste und anscheinend bestimmter Entschlossenheit auftrug, einen Teil seines Vermögens zu einer bevorstehenden Reise ins Ausland zur Bestreitung der damit verbundenen Kosten einzuziehen. Ich widersprach nicht, forschte aber genauer nach der Ursache seines so schnellen Entschlusses, die sich endlich daher ergab, daß er die ihm lästige Blähung auf dem Magenmunde nicht mehr ertragen könnte. Ich antwortete ihm: *post equitem sedet atra cura*⁵⁶; dies dürfte also auch wohl der Fall mit seiner Blähung auf dem Magenmunde sein, der er nicht so leicht ent-rinnen würde. Eine Stelle aus den alten Dichtern vermochte viel auf *Kant*, und so veränderte auch diese angeführte sehr schnell seinen Entschluß, den er auch nur, weil er, um seinen Blähungen auf dem Magenmunde zu entgehen, keinen Rat und Ausweg kannte, in seiner Schwäche gefaßt hatte. Das Gespräch über wochenlangen Aufenthalt auf dem Lande in kleinen Bauernhütten; über Teilnahme an ihren größern ländlichen Speisen; über Hinwegsetzung der Gesellschaft mit Ratten, Mäusen und Insekten mancher Art in den schmutzigen Wohnungen der Landleute: war nun an der Tagesordnung. Der feste Ernst und die rührende Sehnsucht, mit welcher er mit zusammengeslagenen Händen und zum Himmel gerichteten Augen sich mehr Wärme zur Begünstigung unserer Reisen erflehte, machten mich ziemlich ungewiß, ob sein Wunsch zu reisen, wenngleich nicht in seinem ganzen Umfange, so doch zum Teil befriediget werden müßte. Ich schlug das im vorigen Jahre besuchte Landhäuschen vor. „Gut“, war *Kants* Antwort, „wenn es nur weit ist.“ Ich erwiderte: Weit kann jeder Weg durch Umwege werden und unser Aufenthalt bis zum Herbste währen.

⁵⁶ (lat.) „hinter dem Reiter hockt die finstere Sorge“ (Horaz, Oden, Drittes Buch, 1, V. 40).



Nur erst spät im Jahre, gegen den längsten Tag, fuhren wir in jenes Häuschen auf dem Lande. Beim Einsteigen in den Wagen war die Losung: Nur recht weit! aber wir waren noch nicht am Tore, so dünkte ihm der Weg schon zu lang zu sein. Mit genauer Not kamen wir dort halb zufrieden an. Der Kaffee stand bereit, aber kaum nahm er sich so viel Zeit, ihn zu trinken, als wir wieder in den Wagen steigen und zurückfahren mußten. Überaus lange währte ihm der Rückweg, der doch kaum 20 Minuten dauerte. Seine Schwäche, die ihm die Zeit so sehr vergrößert vorstellte, artete in eine Art von Ungeduld aus, die ihn fast überwältigte, wobei er sich doch aber hütete, die Schuld der unternommenen Fahrt oder der zu langen Verzögerung mir zuzuschreiben. *Hat's denn noch kein Ende?* war die in jedem Augenblick wiederholte Frage. Sie wurde mit einem solchen Nachdruck und mit solcher Deklamation erneuert, als wenn er sie nur einmal getan hätte. Ich blieb indessen ganz ruhig dabei, ließ alles geschehen, weil ich wohl wußte, daß, sobald er in seine gewöhnliche ruhige Lage zurückgekehrt wäre, alles vergessen wäre. Welche Freude für ihn, nun einmal sein Haus zu erblicken! Unmutig über die weite Reise und die so lange Abwesenheit, ließ er sich auskleiden, wurde zufriedener, schlief sanft und wurde von keinen Träumen beunruhiget oder aufgescheucht. Bald darauf wurde von Reisen, weiten Reisen, Reisen ins Ausland mit erneutem und vermehrtem Enthusiasm gesprochen; doch waren die folgenden Ausfahrten, mit kleinen Abänderungen jener ersten ziemlich gleich. Etwa acht derselben, entweder in jenes Häuschen oder in meinen Garten und noch einen andern, war alles, was in diesem Jahre unternommen worden war. Dennoch hatten, besonders die Spazierfahrten nach dem Landhäuschen, für ihn ihren großen Nutzen. Sie erneuerten bei ihm solche Ideen aus den frühern Jahren seines Lebens, die ihn oft sehr aufheiterten. Das schon oft er-




währte Landhäuschen liegt auf einer Anhöhe unter hohen Erlen. Unten im Tale fließt ein kleiner Bach mit einem Wasserfall, dessen Rauschen *Kant* bemerkte. Diese Partie erweckte in ihm eine schlummernde Idee, die sich bis zur größten Lebhaftigkeit ausbildete. Mit fast poetischer Malerei, die *Kant* sonst in seinen Erzählungen gerne vermied, schilderte er mir in der Folge das Vergnügen, welches ein schöner Sommermorgen in den frühern Jahren seines Lebens ihm auf einem Rittergute, in der dort befindlichen Gartenlaube an den hohen Ufern der Alle⁵⁷, bei einer Tasse Kaffee und einer Pfeife gemacht hatte. Er erinnerte sich dabei der Unterhaltung in der Gesellschaft des Hausherrn⁵⁸ und des Generals von L.⁵⁹, der sein guter Freund war. Alles war dem Greise so gegenwärtig, als wenn er jene Aussicht noch vor sich hätte, jene Gesellschaft noch genösse. Um ihn recht zu erheitern, durfte man nur zuweilen dem Gespräche eine Wendung auf diesen Gegenstand geben, so war er sogleich wieder heiter und froh. Überhaupt konnte er durch die angenehmste Unterhaltung nicht so erheitert werden, als wenn man ihm angenehme Ereignisse der Vorzeit erzählte. Die Täuschung, als erinnerte er sich alles dessen von selbst, worauf ein anderer ihn brachte, und das Gefühl eigener Kräfte, das aus derselben entstand, war ihm überaus wohltätig und erheiternd. Dieses ihm so wohltuende Gefühl zu wecken, war ein wahres Verdienst, das alle seine Tisch-

⁵⁷ Das Rittergut Groß Wohnsdorf (heute Kurortnoe) an der Alle (heute Lawa) bei Friedland (heute Pravdinsk).


⁵⁸ Friedrich Wilhelm Freiherr von Schrötter (1712 — 1790). Auch mit dessen Sohn Friedrich Leopold Freiherr von Schrötter (1743 — 1815) war *Kant* befreundet.

⁵⁹ Daniel Friedrich von Lossow, General des Husarenregiments in Königsberg. Er lud *Kant* mehrfach auf sein Gut Kleschauen (heute Kutusowo) bei Goldap ein.



freunde um ihn hatten. Es war aber auch notwendig, mit seinen Ideen, Wünschen und Ereignissen bekannt zu sein. Vor dem Eintritt in sein Zimmer suchte ich mir daher genaue Nachricht von allem in meiner Abwesenheit Vorgefallenen zu verschaffen. Jeden Traum, den er gehabt, jeden Wunsch, den er geäußert, jeden Vorfall, der sich ereignet hatte, suchte ich vorher zu erfahren. Bei seiner jetzigen Art, sich uneigentlich auszudrücken, war es mir daher möglich, ihn leicht zu verstehen. Ich wußte schon alles, was er sagen wollte. Er klagte mir seine Schwäche bisweilen mit Unmut; aber von jedem unangenehmen Gegenstande brachte ich ihn durch Unterbrechung, wenigstens durch eine Frage aus der Physik oder Chemie ab, suchte dieses neue Objekt des Gesprächs für ihn anziehend zu machen; der unangenehme Gegenstand wurde vergessen und der angenehmere erhielt neues Interesse.


Eine augenblickliche Unterhaltung gewährte ihm in diesem Sommer mehr als sonst die Musik beim Aufziehen der Wachparade. Er ließ, wenn sie bei seinem Hause vorbeizog, sich die Mitteltüre seiner Hinterstube, in der er wohnte, öffnen, und hörte sie mit Achtsamkeit und Wohlgefallen an. Man hätte denken sollen, der tiefe Metaphysiker hätte nur an einer Musik, die durch reine Harmonie, durch kühne Übergänge und natürlich aufgelöste Dissonanzen sich auszeichnet, oder an den Produkten der ernstesten Tonkünstler, als eines *Haydn*, Behagen finden sollen; allein dieses war nicht der Fall, wie folgender Umstand beweiset. Im Jahre 1795 besuchte er mich mit dem verstorbenen G. R. v. Hippel, meinen Bogenflügel zu hören. Ein Adagio mit einem Flaggeoletzuge, der dem Ton der Harmonika ähnlich ist, schien ihm mehr widerlich als gleichgültig zu sein; aber mit eröffnetem Deckel in der vollsten Stärke gefiel ihm das Instrument ungemein, besonders wenn eine Symphonie mit vollem Orchester nachgeahmt wurde. Nie konnte er ohne Wi-



derwillen daran denken, daß er einst einer Trauermusik auf Moses Mendelsohn beigewohnt habe, die, nach seinem eigenen Ausdruck, in einem ewigen lästigen Winseln bestanden hätte. Er bemerkte dabei, daß er vermutet hätte, daß doch auch andere Empfindungen, als z.B. die des Sieges über den Tod (also heroische Musik) oder die der Vollendung hätten ausgedrückt werden sollen. Er sei daher schon im Begriff gewesen, Reißaus zu nehmen. Nach dieser Kantate besuchte er kein Konzert mehr, um nicht durch ähnliche unangenehme Empfindungen gemartert zu werden. Rauschende Kriegsmusik prävalierte vor jeder anderen Art.

Gegen das Ende des Sommers, besonders im Herbst, nahm seine Schwäche in einem sehr beschleunigten Verhältnisse zu. Wenn der Bediente sich nicht zu Hause und *Kant* sich allein befand, so war er in Gefahr, durch Fallen ums Leben zu kommen. In einer solchen Abwesenheit des Bedienten fiel er einmal so stark, daß ihm das Gesicht und der Rücken stark mit Blut unterlaufen war. Nach Anwendung der Thedenschen Arquebusade, die ich sogleich besorgte, wurden beide ohne Arzt wieder gut. Er hatte nie körperlichen Schmerz erlitten und doch trug er dieses sein ungewohntes Schicksal mit männlicher Fassung und philosophischer Wegsetzung über das, was nun nicht zu ändern wäre und dessen Ende ruhig abgewartet werden müsse.


Der letzte Fall bewies aber nun auch, daß er ohne Gefahr keinen Augenblick allein bleiben könnte. Ich nahm seine Schwester, eine an Gesichtsbildung und Gutmütigkeit ihm ähnliche Person, die im St. George-Hospital eine Stiftsstelle hatte, nach vorhergegangener Genehmigung in sein Haus. Sie hatte schon seit vielen Jahren von ihm eine Pension als Zulage erhalten, wodurch sie in den Stand gesetzt wurde, nach ihren wenigen Bedürfnissen bequem und sorgenfrei zu leben. Bei ihrem zunehmenden Alter wurde ihre Pension verdoppelt und beim Eintritt in sein Haus noch



mehr erhöht. Sie war eine vieljährige Witwe, deren Mann vor Ablauf des ersten Jahres ihrer Ehe gestorben war. Ob sie gleich nur 6 Jahre jünger als ihr Bruder ist, so war sie doch nicht allein im vollsten Besitze ihrer Geistes- und Leibeskräfte, sondern noch sogar ziemlich lebhaft und frisch. *Kant* war nicht gewohnt, jemanden um sich zu haben; sie nahm daher nach dem Eintritt in sein Haus zuerst ihren Platz hinter seinem Stuhle ein, so daß ihre Gegenwart ihn nicht stören konnte. Nach und nach gewöhnte er sich sogar an ihre Gesellschaft. Ihr bescheidenes, zurückhaltendes Betragen, ihre Aufmerksamkeit auf den Augenblick, wenn ihr Bruder nicht mehr unterhalten sein wollte, machte sie ihm sehr wert. Sie hatte als seine nächste Blutsfreundin nicht nur die erste Verpflichtung, um ihn zu sein, sondern auch als eine gutmütige und recht herzliche Frau, die bei seiner zunehmenden Schwäche und zu seiner Pflege nötige Geduld, Sanftmut und Nachsicht. Ob es gleich bei ihrer Aufnahme in *Kants* Haus nur bloß auf ihre Gegenwart angesehen war, so ließ sie es doch bei ihrer gewohnten Tätigkeit nicht an wirklicher Beihilfe und Unterstützung fehlen, sondern nahm sich seiner mit schwesterlicher Zärtlichkeit an. Nie entstand eine Art von Grenzstreitigkeit über unsern Wirkungskreis, nie ein Zwist zwischen ihr und *Kants* Gesinde. Überhaupt war *Kant* mit ihr wohlberaten.

Alles schien darauf hinaus zu deuten, daß der jetzige eintretende Sommer der letzte seines Lebens sein würde. Seine letzte Ausfahrt machte er im August, in den Garten seines geschätzten Freundes und öftern Tischgastes, des Hrn. C. R. H. in der Gesellschaft des Hrn. D.M.⁶⁰ Beide waren bei *Kant* zu Mittag, als ihm der Vorschlag von ihnen


⁶⁰ Dr. William Motherby (12.09.1776 — 16.01.1847), Freund Kants. 1805 gründete er die Gesellschaft der Freunde Kants.



zu dieser Ausfahrt gemacht wurde. *Kant*, der sich an mich gewöhnt hatte, wollte diese Fahrt ohne mich nicht anstellen. Ich wurde daher mit äußerster Schnelligkeit aufgesucht und nahm Teil an derselben, die ich darum auch nicht gerne versäumt hätte, weil sie die letzte war. Es war bei derselben auf die letzte Zusammenkunft mit seinem würdigen Freunde Hrn. H. P. S. gesehen. *Kant* kam früher in den Garten als sein Freund, war aber wegen seiner Schwäche zur Unterhaltung gar nicht aufgelegt. Nach seinem gänzlich verlorenen Zeitmaß währte ihm die Ankunft seines erwarteten Freundes viel zu lange; er war nicht zu bereden, ihn abzuwarten, um ihn noch zu sehen. Er beschleunigte das Ende seiner letzten Exkursion, wie er seine Spazierfahrten nannte, mit Ungeduld. Der Rest des letzten Sommermonats bot keinen schicklichen Tag zu einer Ausfahrt mehr dar, und so waren sie für *Kants* Leben geschlossen.

In sein oft benanntes Büchelchen zeichnete sich *Kant* unter dem 17. August folgendes Verschen ein: Ein jeder Tag hat seine Plage, hat nun der Monat dreißig Tage, so ist die Rechnung klar, von dir kann man dann sicher sagen, daß man die kleinste Last getragen, in dir du schöner Februar. Der nächstfolgende Februar war sein Sterbemonat, in dem er die letzte und (im Vergleich mit seinen ehemaligen Kopfbedrückungen, den Blähungen auf dem Magenmunde und seinem sanften Einschlummern zur Ruhe) kleinste Last getragen hatte. Hätte er diesen Reim nur fünf Tage früher geschrieben, so hätte er diese Lobrede gerade ein halbes Jahr vor seinem Sterbemonate gehalten. Weder von *Kant*, noch von irgendeinem andern hatte ich diesen Vers je gehört, und ich weiß nicht, wo er ihn hergenommen hat.


Wenn man nun so bei herannahendem Herbste, besonders in den Vormittagen, *Kant* beobachtete, wie er kaum einen Schritt, auch selbst bei Unterstützung und Leitung



mehr gehen, kaum mehr aufrecht sitzen, vor Schwäche kaum mehr verständlich reden konnte, so sollte man glauben, letztere hätte nicht mehr zunehmen können, und der heutige Tag müsse der letzte sein. Doch gab ein jeder Tag einen Beweis vom Gegenteil. So wie das Thermometer im späten Herbst allmählich tiefer fällt, bei eintretenden Sonnenblicken bisweilen steigt, aber stets wieder tiefer fällt, als es zuletzt gefallen war, so ging's auch mit *Kants* Kräften. Sein großer Geist strebte noch bisweilen heroisch empor, aber die Schwäche des Körpers drückte ihn nieder, er verlor nach jedem Druck Elastizität, ohne doch ganz zu erschlaffen.


Im Anfange des Herbstes nahm die Sehkraft seines rechten Auges sehr ab. Das linke hatte er schon längst gänzlich verloren. Nur zufällig bemerkte er diesen Verlust, indem er sich bei einem Spaziergange zum Ausruhen auf eine Bank setzte. Sein Beobachtungsgeist war immer geschäftig, daher stellte er den mit sich selbst schon oft gemachten Versuch an, mit welchem Auge er besser sähe; nahm ein Zeitungsblatt, das er eben bei sich hatte, hielt sich ein Auge zu und fand zu seinem Befremden, daß er auf dem linken nichts mehr sehen könne. Aus frühern Jahren seines Lebens erzählte er mir ähnliche merkwürdige Ereignisse. Bei der Rückkehr von einem Spaziergange vor dem Steindamschen Tore sah er den Turm der Neuroßgärtschen Kirche eine lange Zeit doppelt. Zweimal in seinem Leben wurde er auf einige Augenblicke stockblind. Ob diese Erscheinungen so selten sind, überlasse ich dem Urtheile der Ärzte. Diese und ähnliche Vorfälle beunruhigten *Kant* nicht leicht, indem er stets auf alles gefaßt war.

Nun wurde aber auch sein rechtes Auge so schwach, daß er in der Entfernung nichts mehr sehen konnte. Mich beunruhigte dieser Umstand sehr, ich dachte mir das Schreckliche seiner Lage, wenn er sein Gesicht gänzlich verlieren sollte. Sein lebhaftes Gefühl der Hilfsbedürftigkeit



mehrte seine Wünsche und Forderungen oft bis zu meiner größten Verlegenheit. Er konnte kaum so viel sehen, um nur etwas zu lesen und zu schreiben, da er doch nur wenige Wochen vor seinem jetzigen Zustande die kleinste Schrift mit völlig unbewaffnetem Auge lesen konnte. Im Herbste schrieb er noch so, wie man mit geschlossenen Augen, wenn man im Schreiben geübt ist, seine Unterschrift zeichnen kann. Nun nahm er mich und meine unbedeutende Kunst mächtig in Anspruch. Ich sollte durch ein von mir zu erfindendes Mittel seine Sehsucht stärken, den kleinen Rest derselben vermehren und überhaupt ihn (die Art überließ er mir) in den Stand setzen, daß er lesen könne. Nichts war ihm langweiliger und unausstehlicher, als sich vorlesen zu lassen. Versuche dieser Art, die andere machen wollten, fielen nicht erwünscht aus. So verzeihlich sein Wunsch war, so gern ich ihn auch nur zum Teil befriediget hätte, so war mir doch die Erfüllung desselben gänzlich unmöglich. Je sehnlicher er ihn wiederholte, desto peinlicher wurde meine Lage. Ich schlug ihm ein Leseglas vor, aber es war für ihn eine Fessel, die er sich nicht anlegen wollte. Das Glas wurde verworfen, er konnte sich in dasselbe gar nicht finden. Ein Optikus wurde geholt, Brillen von verschiedenem Fokus versucht, gewählt und benutzt, doch konnte er nichts mehr lesen.

Jetzt verlangte er von mir: Ich sollte ihm eine zwei- oder dreifache Brille machen, jede mit gehörigen Zwischenräumen voneinander. Ich stellte ihm diesen Versuch als zwecklos vor; indem durch mehrere Brillengläser, wegen zu häufiger Strahlenbrechung die Objekte dunkler erscheinen müßten und die vermehrte Zahl konvexer Gläser den Fokus so verkürzen würde, daß wegen zu großer Annäherung des Buches das Tageslicht verhindert werden müsse, auf die Schrift zu fallen. Es wurde ein Versuch gemacht, indem drei




Brillen durch Wachs vereinigt wurden und der Versuch entschied die Unmöglichkeit der Auflösung seines Problems.


Kants mechanische Probleme praktisch und mit dem von ihm verlangten Erfolge aufzulösen, hatte so manche Schwierigkeit. Da er keine Kenntnis von der praktischen Mechanik hatte, so verlangte er oft die Ausführung unmöglicher Aufgaben. Ich führe aus früheren Jahren ein Beispiel an. Er verlangte vor etwa zehn Jahren meinen Beistand zur Erfindung und Verfertigung eines Elastizitätsmessers der Luft. Zwei Glasröhren von sehr ungleichem Kaliber, wie bei Thermometern, mit zylindrischen Gefäßen, sollten aneinander geschmolzen werden, beide offen und in einem Winkel von 45 Graden gebogen sein. Die dickere Röhre sollte etwa ein Viertel Zoll im Durchmesser halten, die dünnere eine Haarröhre sein und mit Quecksilber zur Hälfte gefüllt werden. Dieses meteorologische Instrument sollte auf ein Brett dergestalt befestigt werden, daß die dickere Röhre eine perpendikuläre Richtung, die dünnere, an welcher eine Skala von 100 Graden laufen sollte, die Richtung unter 45 Graden erhielt. Bei verminderter Elastizität der Luft sollte der Mercurius⁶¹ sich in der kleineren Röhre zurückziehen, bei vermehrter aber steigen. Ich protestierte wider diesen Erfolg, der, nach meinem Dafürhalten, dem Gesetze widerspricht, nach welchem *Tubi communicantes*⁶² ohne Unterschied des Kalibers der Röhren die in denselben befindlichen Flüssigkeiten ins Gleichgewicht setzen, die Adhäsion ans Glas vielleicht abgerechnet. Der Elektrometer wurde fertig, die mit demselben angestellten Beobachtungen und Resultate wurden in den Kalender geschrieben: „der Elekt-

⁶¹ Quecksilber

⁶² Kommunizierende Röhren




rometer steht auf 49 Grad^c. Am folgenden Morgen war er 50. *Kant* wollte schon sein: *Gefunden!* ausrufen, allein er war seinem Ziele noch nicht so nahe, als Archimedes. Als ich ihn auf die vermehrte Stubenwärme, die den Mercurius ausgedehnt haben möchte, aufmerksam machte, wurde er still und traurig. Es wurden Versuche mit Elektrometer, Barometer, Thermometer und Hygrometer angestellt und nichts Bestimmtes und Korrespondierendes bemerkt; außer, daß bei Wärme und Kälte der Elektrometer schwach als Thermometer wirkte. Ich habe diesen Umstand auch deshalb nicht übergehen wollen, damit eine Idee *Kants*, die er vielleicht keinem als mir kommunizieret hat, nicht gänzlich verloren ginge. Wenngleich Wärme und Kälte, vermehrte Schwere oder Dichtigkeit der Luft, Veränderungen im Stande des Quecksilbers im Elektrometer bewirken können, wenn gleich noch nichts in der Sache aufs Reine gebracht ist, so können scharfsinnigere Prüfungen und genauere Beobachtungen doch wohl kein anderes Resultat liefern. *Kant* baute seine Theorie und die etwanige Haltbarkeit derselben auf die verschiedenen Bogen der sphärischen Wölbung des Quecksilbers an beiden äußersten Enden desselben in den, in ihren Durchmesser verschiedenen Röhren. Vielleicht vervollkommnet ein anderer Naturforscher diese hingeworfene Idee *Kants* oder vielleicht wird wenigstens *Kants* Wunsch, den er auf seinem Wege nicht erfüllt sah, manchem Physiker eine neue Ermunterung sein, auf einem anderen Wege den nämlichen Zweck zu erreichen. *Kant* versprach sich sehr viel Gewinn für die Meteorologie von jedem Instrumente, das eine Eigenschaft der Luft nur mit einiger Sicherheit bestimmte. Er bat mich daher, durch Nachdenken und Versuchen die Schwierigkeiten zu überwinden, um dem Zwecke näher zu kommen; versprach, bei Bekanntmachung dieser Erfindung meinen Anteil an dersel-




ben nicht zu verschweigen, viel weniger denselben sich selbst zuzueignen; als wenn mein Anteil der Erwähnung dieses Mannes wert gewesen; oder wenn es mir geglückt wäre, etwas wenigens in der Sache zu tun, er den kleinsten fremden Beitrag sich zuzueignen imstande gewesen wäre. Dieser letzte Umstand entschuldigt vielleicht etwas die Berührung des Elektrometers, die sonst entbehrlich gewesen wäre, wenn jene Äußerung *Kants* auf seine Bescheidenheit nicht ein so vorteilhaftes Licht werfe.

Diese seine Idee führt mich auf eine andere, die, wenn sie gleich eben so wenig ausgeführt werden konnte, doch immer scharfsinnig bleibt. Zu der Zeit, da Hr. Dr. *Chladny* in Königsberg seine akustischen Versuche machte, mich oft besuchte und mir die Handgriffe zeigte, die Töne sichtbar darzustellen, so kam nach seiner Abreise im Gespräch mit *Kant* die Rede auf diese sonderbaren Erscheinungen. *Kant* schätzte diese Erfindung als eine Entdeckung eines bis dahin unbekanntes Naturgesetzes und machte mir einen sinnreichen Vorschlag zu einem physikalischen Versuch. Er schlug nämlich vor, die durch einen Bogenstrich erschütterte Glasscheibe unter ein Sonnenmikroskop zu bringen, um zu sehen, was durch diesen wellenförmig bewegten, durchsichtigen Körper, die so schnell hintereinander, unter verschiedenen Winkeln gebrochenen Sonnenstrahlen für eine Wirkung auf der Leinwand hervorbringen würden. Bei mir machte, ich muß es gestehen, diese Idee viel Sensation. Ich eilte beim ersten Sonnenblick Versuche anzustellen, die aber bei der gewöhnlichen Einrichtung der Sonnenmikroskope kein Resultat liefern konnten. Auch diese Idee halte ich der Aufbewahrung wert.

Im letzten Jahre seines Lebens empfand *Kant* Besuche der Fremden sehr unangenehm und lehnte sie so viel als möglich ab. Wenn Durchreisende einen Umweg von mehre-




ren Meilen gemacht hatten, bloß aus der Absicht, ihn zu sehen und sich mit vieler Höflichkeit an mich wandten, so geriet ich oft in Verlegenheit, ihnen den Zutritt zu *Kant* zu verschaffen. Eine abschlägige Antwort kostete mir viel Überwindung und gab das Ansehen, als wenn man sich wichtig machen wollte. *Kant* wurde es schwer, ja es dünkte ihm erniedrigend, sich jetzt, da er zur Unterhaltung nicht mehr fähig war, in seiner Schwäche beobachtet zu sehen. Beispiele von Bescheidenheit und von Zudringlichkeit könnte ich genug anführen. Von ersteren nur eins statt aller. Ein großer Verehrer Kants, der es sehr deutlich gezeigt hat, wie sehr er diesen Mann schätzte, ein durch kollegialische Verbindung an ihn geknüpfter Mann, kam hier an, um seinen wichtigen Posten anzutreten, reichte seine Meldekarte ein, überwand sich aber, durch persönlichen Besuch *Kant* auch nur einen Augenblick zu beunruhigen. Hätte ich dieses vor *Kants* Tod gewußt, so bin ich nach meiner Bekanntschaft mit *Kants* Denkungsart, Bürge dafür, er hätte nach seiner Humanität diesen seinen Kollegen kennen lernen müssen und würde ihn sich zu seinem Tischfreunde erbeten haben. Bisweilen war es mir unmöglich, seinen Verehrern augenblickliche Unterhaltungen mit ihm zu versagen. Gewöhnlich erwiderte er auf das Kompliment, daß man sich freue, ihn zu sehen: „An mir sehen Sie einen alten, abgelebten, hinfälligen und schwachen Mann.“ Ich freute mich, daß ich unter den *Kant* besuchenden Durchreisenden den französischen Bürger *Otto*, der mit Lord *Hawkesbury* den Frieden schloß, kennen lernte. Ein anderer, der *Kant* in den letzten Zeiten seines Lebens suchte, verdient gleichfalls nicht übergangen zu werden. Es war ein junger russischer Arzt, der sich durch seinen Enthusiasmus für *Kant* auf eine ganz einzige Art auszeichnete. Sehulich erwartete er den Augenblick, um ihm vorgestellt zu werden.




Kaum sahe er ihn, als er von Hochachtung durchdrungen, ihm die Hände küßte, um seine Freude recht lebhaft auszudrücken. *Kant*, den diese Art der Ehrfurchtsbezeugung stets verlegen machte, wurde es auch diesmal und wußte nicht, wie er derselben ausweichen sollte. Am folgenden Tage kommt jener zum Bedienten, erkundigt sich, was *Kant* mache, fragt, ob er auch in seinem Alter sorgenfrei leben könne, und bittet um ein einziges, von *Kants* Hand geschriebenes Blättchen, zum Andenken. Der Bediente sucht auf dem Boden, findet einen Bogen von der Vorrede zu seiner Anthropologie, den er kassiert und anders umgearbeitet hatte. Der Diener zeigt mir das Blatt vor und erhält die Erlaubnis, es fortgeben zu können. Als dieser es dem jungen Arzt in den Gasthof bringt, so ergreift er es mit Freude, küßt es und zieht, vom Enthusiasmus überwältigt, seinen Rock und seine Weste vom Leibe, gibt beides auf der Stelle dem Diener und einen Taler oben ein. *Kant*, der vor allen exaltierten Äußerungen und Übertreibungen einen Abscheu hatte und sehr fürs Schlichte, Gerade und Natürliche war, wunderte sich, zwar mit Befremden; aber doch mit einer Art von Behagen über das so seltene Betragen seines jungen Verehrers.

Ich komme nun zu einer neuen Epoche in *Kants* Leben, die eine völlige Veränderung in seiner ganzen bisherigen Lage machte. Der wichtigste Tag seines bisherigen Lebens war der 8. Oktober 1803. An diesem Tage wurde *Kant* zum ersten Male in seinem ganzen Leben bedeutend krank. In seinen frühesten akademischen Jahren hatte er ein kaltes Fieber gehabt, das er sich durch einen Spaziergang, den er zum Brandenburgschen Tore hinaus und zum Friedländschen in die Stadt zurück machte, vertrieben hatte. In spätern Jahren meines Umgangs erlitt er eine starke Kontusion am Kopfe durch einen Stoß an der Türe. Wenn man will, mag man diese beiden Unfälle Krankheiten nennen; aber




mehr hatte er, soviel er sich zu erinnern wußte, nicht gelitten. Aber der 8. Oktober legte den Grund zur Auflösung seiner physischen Existenz. Ich sehe mich genötiget, einige sonst übergangene Umstände zu berühren, wenn ich seine Krankheitsgeschichte etwas vollständig erzählen soll. In den letzten Monaten war *Kants* Appetit in Unordnung gekommen oder vielmehr ausgeartet. Er fand an keinen Speisen mehr Geschmack, sondern bekam eine heftige Begierde nach Butterbrot, welches er in einzelnen Bissen in geriebenen englischen Käse drückte und mit Gierigkeit genoß. Anfänglich wurde bei den andern Gerichten ihm die Zeit zu lang, und er wünschte, daß nur bald die Reihe an sein Lieblingsgericht kommen möchte; späterhin wartete er die Ordnung nicht mehr ab, sondern ließ zwischen jedem Gericht sich jene für ihn nachteilige Speise geben und genoß sie in starken Portionen. Mehr als jemals war dieses der Fall am 7. Oktober, am Tage vor seiner Krankheit, an dem er zwischen jeder Schüssel, die er verschmähete, übermäßig jene ihm nachteilige Speise genoß. Ich und sein zweiter Tischfreund rieten ihm den häufigen Genuß des fetten, schweren und trocknen Nahrungsmittels ab. Allein hier machte er die erste Ausnahme von seiner sonst so gewöhnlichen Billigung und Annahme meiner Vorschläge. Er bestand mit Ungestüm auf Stillung seines ausgearteten Appetits. Ich glaube nicht zu irren, daß ich zum ersten Male eine Art von Unwillen gegen mich bemerkte, der mir andeuten sollte, daß ich die von ihm mir gesteckte Grenze überschritte. Er berief sich darauf, daß diese Speise ihm nie geschadet habe und nicht schaden könne. Der Käse wurde verzehrt, und — es mußte mehr gerieben werden. Ich mußte schweigen und nachgeben, nachdem ich alles versucht hatte, ihn davon abzubringen.

Der nachteiligste Erfolg, der sich mathematisch demonstrieren ließ, traf ein. Eine unruhige Nacht ging einem



traurigern Tage vorher. Bis um 9 Uhr morgens war alles noch so, wie es zu sein pflegte; aber um diese Zeit sank *Kant*, der von seiner Schwester geleitet wurde, von ihrem Arm plötzlich sinnlos zur Erde. Der Diener wurde gerufen, *Kant* schien vom Schläge gerührt zu sein. Das Bett wurde aus dem kalten Schlafzimmer in seine erwärmte Studierstube gebracht. Sobald er hineingelegt war, eilte der Diener zu mir, mit der raschen Anzeige: Sein Herr wäre im Sterben begriffen. Ich schickte sogleich zum Arzt, Herrn M. R. D. E.⁶³ und eilte sogleich selbst hin, fand *Kant* ohne Bewußtsein, sprachlos und mit gebrochenem Auge in seinem Bette liegen. Er war durch keinen, nach und nach verstärkten Zuruf zum Aufblicken zu bringen. Schnell eilte der Arzt herbei; aber eben vor seiner Ankunft hatte *Kants* durch keine Art von Ausschweifungen geschwächte Natur, sich durch ihm selbst unbewußte Ausleerungen geholfen. Nach etwa einer Stunde kam er zum Aufschlagen der Augen und zum unverständlichen Lallen, das gegen Abend, da er sich mehr erholte, in verständlichere Worte überging. Nun blieb er einige Tage zum ersten Male in seinem Leben bettlägerig und genoß nichts. Den 12. Oktober war ich allein bei ihm zu Mittag, er nahm den ersten Löffel Speise zu sich und verlangte Käse und Butterbrot. Ich war fest entschlossen, alles von *Kant* ruhig zu erwarten und über mich ergehen zu lassen, nur ihm keinen Käse mehr zu gestatten. Ich führte ihn durch ernste Gründe von seinem Vorsatz ab, und er folgte mir; besonders da ich ihm die Folgen vorhielt, die der Genuß dieser Speise für ihn gehabt hatte; er wußte aber nichts

⁶³ Professor der Medizin Christoph Friedrich Elsner (geb. 14. Januar 1749 in Königsberg (Preußen); † 19. April 1820 (ebenda). Er war er in den Wintersemestern 1791/92, 1795/96, 1799/1800, 1803/04 sowie 1807/08 Rektor der Alma Mater und 1811/12 gleichbedeutender Prorektor.




von seiner Krankheit und fand meine Behauptung, daß die Indigestion, die vom starken Genüsse des Käses herrühre, ihm leicht das Leben hätte kosten können, ungegründet und meinen Entschluß, diesen Nachtschiff abzuschaffen, hart. Einige Tage darauf wollte er einen Gulden, einen Taler und mehr für ein wenig Käse geben, mit dem Zusatze: Er habe es ja dazu; allein ich setzte mich standhaft dagegen. Er brach in wehmütige Klagen über die Verweigerung des Käses aus und entwöhnte sich endlich desselben; ob er gleich noch oft an ihn dachte. Ich behauptete, das Käsemachen gehöre nun zu den verloren gegangenen Künsten, vom Käse könne nie mehr die Rede sein. Vom 13. Oktober an wurden seine gewöhnlichen Tischgäste wieder eingeladen und er war wieder hergestellt, kam aber selten zu dem Grade von Heiterkeit, wie vor der Krankheit.

So gerne er sonst die Mahlzeit verzögerte, welches er *coenam ducere*⁶⁴ nannte, so schnell wollte er sie jetzt beendigt wissen. Geschwind mußte eine Schüssel der andern folgen, und um 2 Uhr war die Mahlzeit bereits beendet. Gleich vom Tische, also schon um 2 Uhr ging er nun ins Bett, schlummerte zuweilen ein, wurde durch Träume aufgeschreckt, die man fast hätte Phantasien nennen können. Um 7 Uhr abends ging seine größte Unruhe an und dauerte bis 5 oder 6 Uhr morgens und auch wohl später. Gelassenes Herumgehen auf seiner Stube wechselte mit Angst ab und war bald nach dem Erwachen am stärksten.


Von dieser Zeit an mußte er jede Nacht hindurch bewacht werden. Sein stets unermüdeter Diener, der den Tag über voll Beschäftigung hatte, mußte bald bei dieser Anstrengung unterliegen, es mußte also ein mit ihm wechselnder Gehilfe angenommen werden.

⁶⁴ (lat.) das Essen ausdehnen




Obleich *Kant* in frühern Zeiten nicht gern seine Verwandten um sich sah, doch nicht etwa, als wenn er sich ihrer geschämt hätte (über solche Schwachheiten war er unendlich erhaben), sondern weil er sich mit ihnen nicht zu seiner Satisfaktion unterhalten konnte; so hielt ich es doch aus mehr als einer Ursache für geratener, ihn lieber seinen Blutsfreunden als Fremden anzuvertrauen. Diese hatten nicht allein die erste Verpflichtung, zumal sie von ihm so reichlich unterstützt wurden, sondern konnten auch Zeugen der Behandlung und Pflege *Kants* von meiner Seite sein und sich überzeugen, daß es ihm an nichts fehle, vielmehr jeder seiner, ihm nicht schädlichen Wünsche mit aller Schnelligkeit befriediget würde, sowie auch von dem Aufwand, den sein jetziger Zustand erforderte. Gegen eine reichliche Belohnung neben der bisher empfangenen Pension und anständige Bewirtung des Abends wechselte sein Schwestersohn mit dem Diener im Wachen ab. Ich bin fest überzeugt und berufe mich auf jeden Unparteiischen seiner Tischfreunde, die zum Teil von einigen Vorkehrungen, die ich machte, Zeugen waren, daß in seiner Behandlung und Pflege nichts so leicht versehen wurde, daß er alles hatte, was ein Mann von seinem Stande und Vermögen nicht bloß haben muß, sondern auch nur haben kann.

Der 8. Oktober hatte auf *Kants* Kräfte stark gewirkt, aber sie noch nicht zerstören können. Es gab noch immer einige Augenblicke, in denen sein großer Verstand, wenngleich nicht mehr so blendend, wie ehemals, hervorstrahlte, doch noch immer sichtbar war, und in denen desto mehr sein gutes Herz hervorleuchtete. Er erkannte in den Stunden, in denen er seiner Schwäche weniger unterlag, jede sein Schicksal ihm erleichternde Vorkehrung mit *gerührtem* Danke gegen mich und mit *tätigem* gegen seinen Diener, dessen äußerst beschwerliche Mühe und unermüdete Treue




er mit bedeutenden Geschenken belohnte. Über die Größe und Art derselben nahm er vorher mit mir Rücksprache. Der Ausdruck war ihm zum Sprichwort geworden: „Es muß keine Knickerei oder Kargheit irgendwo stattfinden.“ Die Worte sagen nicht viel; aber die Miene des ehrwürdigen Gesichtes, in dem sich jede Muskel zum Ausdruck der tiefsten Verachtung gegen alles verzog, was nur den Anschein von Geiz haben konnte, gab diesen Worten den eigentlichen Nachdruck. Geld hatte in seinem Auge keinen andern Wert, als nur, in so ferne es Mittel war, durch weisen und zweckmäßigen Gebrauch desselben Gutes zu stiften. Von seinem Vermögen von 20 000 Rtlr. und den mäßigen Einkünften seiner akademischen Lehrstelle, die in den letztern Jahren aus oben angeführten Ursachen wenig mehr einbrachte, gab er etatsmäßig jährlich zur Unterstützung seiner Familie und zur Armenkasse eine Summe, die nicht so leicht ein Reicher hingibt; es waren *eintausendeinhundertunddreiundzwanzig Gulden*, die teils vierteljährig, teils monatlich von mir in seiner Gegenwart ausgezahlt wurden, wozu zwar die Pension von 40 Rtlr. für *Lampe*, aber nicht die Unterstützungen mehrerer Armen gehörten, die wöchentlich ihre Gaben abholten. Sonst pflegt dem hohen Alter sehr oft Geiz, wenigstens strenge Sparsamkeit, eigen zu sein; *Kants* Alter zeichnete sich durch edle und weise Freigebigkeit aus. Nur zur Zeit der Vertraulichkeit erfuhr ich erst von ihm die Summen, die seine Verwandten erhielten, und zwar nicht eher, als bis ich sie wissen mußte, bis ich sie selbst auszahlte.

Bettlern, von denen er oft heimgesuchet wurde, gab er der Regel nach nichts; weil seine Mildtätigkeit auf Grundsätze gebauet war. Er wußte bei aller seiner körperlichen Schwäche Bettler, Betrüger und überhaupt alle Leute eines ähnlichen Gelichters, die seine Schwäche mißbrauchen wollten, mit einem männlichen Ernst abzuhalten. Es fehlte ihm nicht an Mut und Nachdruck, auch bei seinem schon




zusammengefallenen Körper, sich solchen Personen furchtbar zu machen. In den letzten Zeiten seines Lebens erfuhr dieses eine Dame auf eine ihr unerwartete Art. *Kant* war allein in seiner Studierstube. Der Weg von der Straße bis zu ihm stand immer offen. Wenn die Domestiquen in Geschäften ausgegangen waren, wurden alle Stuben zugeschlossen; nur die seinigen nicht. Einst klopft ein wohlgekleidetes Frauenzimmer leise und bescheiden an seine Stubentür; wahrscheinlich war sie durch das übertriebene Gerücht von seiner Schwäche so kühn gemacht. *Kant* ruft: „Herein!“ Sie scheint durch *Kants* noch rascheres Aufspringen vom Tische betreten zu sein, fragt leise, artig und verschämt: Was die Uhr sei? *Kant* zieht seine Uhr hervor, hält sie absichtlich fester, wie sonst, und sagt ihr wieder eben so bescheiden, was sie sei. Sie empfiehlt sich sehr artig und dankt für seine Güte. Kaum hat sie die Tür hinter sich zugezogen, so fällt ihr noch eine, bald vergessene Kleinigkeit ein: sie äußert noch eine Bitte, daß, da sein Nachbar, den sie namentlich nannte, sie eigentlich abgeschickt habe, um nach *Kants* Uhr die seinige zu stellen, er es gütigst erlauben möchte, daß sie seine Uhr nur auf wenige Augenblicke mitnehmen dürfte; weil doch beim Hinübergehen, das einen Zeitraum von einigen Minuten bedürfte, keine genaue Stellung möglich sei. Nun fährt *Kant* mit einem solchen Ungestüm auf sie los, daß sie ungesäumt die Flucht ergreift und er ohne irgendeinen erlittenen Verlust als Sieger den Platz behauptet. Gleich in dieser Minute kam ich hin, der Hinterhalt kam etwas zu spät, sonst hätte sie leicht gefangen werden können. Er erzählte mir sein bestandenes Abenteuer mit vieler frohen Laune. Ich fragte ihn scherzhaft: Was er wohl gemacht hätte, wenn die Dame mehr Herzhaftigkeit gehabt hätte und es wirklich zum Beutemachen gekommen wäre? Er behauptete: Er hätte sich tapfer gewehret. Meinem Bedünken nach wäre aber wohl der Sieg auf ihrer Seite geblieben, und *Kant*




wäre in seinem hohen Alter zum ersten Male von einer Dame besiegt worden. Dieser Geschichte ist eine andere ziemlich ähnlich, die sich mit jener fast zu gleicher Zeit zutrug. Eine andere Frau, ebenfalls wohlgekleidet, wünschte ihn in Angelegenheiten, die sie nur mit ihm allein ohne Zeugen in Ordnung bringen könnte, zu sprechen. *Kant*, der nichts vor mir zu verhehlen hatte, ließ sie an mich weisen. Ich erkannte sie als eine notorische Betrügerin und wußte, daß sie kürzlich einer angesehenen Dame zehn Taler abgedrungen hatte, die ihr letztere, weil sie nur allein im Hause war, aus Furcht etwaniger Gewalttätigkeit wirklich gegeben hatte. Sie mußte mir ihr Anliegen eröffnen, welches in nichts Wenigerm bestand, als in der verlangten Herausgabe eines Dutzend silberner Eßlöffel und einiger goldener Ringe, die ihr Eigentum wären, und die ihr, ihrer Aussage nach, ungeratener Ehemann, bei *Kant* ohne ihr Vorwissen, in Versatz gegeben hätte. Sie war so gefällig und so zum Vergleich geneigt, daß, falls jene Sachen nicht mehr vorhanden wären, sie durch ein Äquivalent von einer Summe Geldes sich gern befriedigen lassen wollte. Meine Antwort auf diesen Antrag war bloß der Befehl an den Diener: den Polizeikommissar des Sprengels herzuholen. Sie war unentschlossen und in sichtbarer Verlegenheit, ob sie diese Vorkehrung auf sich deuten sollte, oder ob sie eine Miene anzunehmen hätte, als wenn ihr Geschlecht, ihr anständiger Anzug und ihre Unschuld sie über solche Veranstaltungen, als sie nicht trefend, erheben müßten. Eine andere Maßregel zu ergreifen, schien ihr doch geratener. Sie legte sich aufs Bitten, schützte ihre Not vor, in der sie sich befand, um diesen unüberlegten Schritt zu rechtfertigen und wurde nach einiger Ängstigung und dem gegebenen Versprechen, *Kants* Schwelle nicht mehr zu betreten, entlassen.

Nach dieser Ausbeugung lenkte ich auf *Kants* Zustand wieder ein. Sein Arzt und von ihm geschätzter Freund be-




suchte ihn treulich so oft, als es sein Gesundheitszustand erforderte. Da *Kant* nicht eigentlich krank, nur alt und schwach war, so gab er ihm bloß nährnde, stärkende und beruhigende Mittel und ging mit einer lobenswürdigen Behutsamkeit zu Werke. *Kant* nahm jetzt jede Arznei ohne Weigerung ein, welches in früheren Zeiten nicht der Fall gewesen wäre. „Ich will sterben“, sagte *Kant*, „nur nicht durch Medizin; wenn ich ganz krank und schwach bin, mag man mit mir machen, was man will, dann will ich alles über mich ergehen lassen; nur keine Präservative nehme ich ein.“ Er erinnerte sich dabei der Grabschrift eines Menschen, der im gesunden Zustande fortwährend Arznei genommen hatte, um nicht krank zu werden, und sich durch übermäßigen Gebrauch derselben das Leben verkürzte. Diese Grabschrift hieß: N. N. war gesund, weil er aber gesunder als gesund sein wollte, so ist er hier. *Kant* tat stolz darauf, daß er keine Medizin nötig habe, übersah es aber von jeher, daß er täglich welche gebrauchte; nämlich 2 und später 4 Pillen, die er jedesmal nach dem Essen verschluckte. Sie bestanden aus gleichen Teilen venetianischer Seife, verdickter Ochsen-galle, Rhabarber und der Ruffinschen Pillenmasse, die der verstorbene D. *Trummer*, sein Schulfreund, der einzige, mit dem er sich du nannte, ihm empfohlen hatte. Mit ängstlicher Sorge, daß ihr Gebrauch nur ja nicht vergessen werde, bat er seine Tischfreunde, ihn daran zu erinnern. *Kant* war sehr heterodox in der Medizin. Er pflegte zu sagen: Alles was in der Apotheke verkauft, gekauft und gegeben wird, *Pharmacon*, *venenum*, und Gift, sind Synonyma. Schon früher hatte er sich zur Orthodoxie in der Medizin hingeneigt, und, um seine Blähungen auf dem Magenmunde los zu werden, einige Tropfen Rum auf Zucker à la Brown und die oben angeführten einfachen Mittel genommen, die seine Säure im Magen zersetzen sollten.




Im Dezember 1803 konnte er kaum seinen Namen mehr schreiben. Er sah so schlecht, daß er den Löffel nicht mehr fand, und wenn ich bei ihm speisete, so zerlegte ich ihm die Speisen, legte sie ihm in den Löffel und gab ihm denselben in die Hand. Ich erkläre mir sein Unvermögen, seinen Namen zu schreiben, auf folgende Art. Er sah den Buchstaben nicht mehr, den er gemacht hatte und sein Gedächtnis war so schwach, daß er den Buchstaben, den er nur nach dem Gefühl zeichnete, wieder vergaß, welches, wenn er ihn noch hätte sehen können, nicht der Fall gewesen wäre. Auch das Vorsagen der Buchstaben war von keiner Wirkung, denn es fehlte ihm an Einbildungskraft, sich die Figur derselben vorstellen zu können. Schon am Ende des Novembers sah ich dieses sein Schicksal schleunig auf ihn zueilen. Ich schrieb daher die Quittungen für seine um Neujahr fallenden Zinsen schon um diese Zeit und er zeichnete seinen Namen noch recht sauber unter dieselben. Bei spätern Unterschriften war sein Name so unleserlich geschrieben, daß ich Monita über die Echtheit seiner Hand von höhern Behörden befürchten mußte. Er entschloß sich, mir eine Generalvollmacht ausfertigen zu lassen. Die Unterschrift unter diesem Protokoll ist der letzte Federstrich, den *Kants* Hand gemacht hat. Nur die höchste Notwendigkeit drang mich zu dieser Maßregel, von der ich aber auch nur den spätesten Gebrauch machte.

So schwach *Kant* jetzt schon war, so war er doch noch bisweilen zum Frohsein fähig. Jedesmal erheiterte ihn die Erinnerung an seinen Geburtstag, und ich rechnete ihm fleißig vor, wie lange es noch währen würde, bis sein 80stes Jahr zu Ende ging. Einige Wochen vor seinem Tode war dieses auch der Fall. Ich suchte ihn durch Vorerinnerung an denselben aufzuheitern. Dann werden, sagte ich, Ihre Freunde sich wieder alle um Sie her versammeln und ein



Glas Champagner auf ihr Wohl trinken. „Das muß heute auf der Stelle geschehen“, war seine Antwort; er ließ nicht ab, bis sein Wille erfüllt wurde, trank auf seiner Tischfreunde Wohl und war an dem Tage recht froh.


Die ihm eigentümliche Gabe, sich ohne Affektation, doch sehr affektiv auszudrücken, behielt er bis in sein spätestes Alter. In früheren Zeiten wußte er sich zum angenehmen Erstaunen mit Nachdruck deutlich auszudrücken und einen sehr treffenden Ton auf das zu legen, was er sagte. Weder eigentliche pathetische Deklamation, noch erkünstelte Gestikulation konnte dieses ihm eigene Talent genannt werden; besonders erzählte er eine von ihm gemachte Erfahrung, die ihn zum Erstaunen hinriß, mit vieler Lebhaftigkeit, Wärme und Nachdruck. Es war die Rede vom bewunderungswürdigen Instinkt der Tiere und der Fall folgender: *Kant* hatte in einem kühlen Sommer, in dem es wenig Insekten gab, eine Menge Schwalbennester am großen Mehlmagazin am Lizenat wahrgenommen und einige Jungen auf dem Boden zerschmettert gefunden. Erstaunt über diesen Fall wiederholte er mit höchster Achtsamkeit seine Untersuchung und machte eine Entdeckung, wobei er anfangs seinen Augen nicht trauen wollte, daß die Schwalben selbst ihre Jungen aus den Nestern würfen. Voll Verwunderung über diesen verstandähnlichen Naturtrieb, der die Schwalben lehrte, beim Mangel hinlänglicher Nahrung für alle Jungen, einige aufzuopfern, um die übrigen erhalten zu können, sagte dann *Kant*: „Da stand mein Verstand stille, da war nichts dabei zu tun, als hinzufallen und anzubeten“; dies sagte er aber auf eine unbeschreibliche und noch viel *weniger nachzuzuhmende* Art. Die hohe Andacht, die auf seinem ehrwürdigen Gesichte glühte, der Ton der Stimme, das Falten seiner Hände, der Enthusiasmus, der diese Worte begleitete, alles war einzig. Eine gleiche Art von ernster




Lieblichkeit strahlte aus seinem Gesichte, als er mit innigem Entzücken erzählte: wie er einst eine Schwalbe in seinen Händen gehabt, ihr ins Auge gesehen habe, und wie ihm dabei so gewesen wäre, als hätte er in den Himmel gesehen.

Auch komische Nachahmungen der Dialekte verschiedener Völker standen in seiner Gewalt. Ich könnte ein sehr komisches Gespräch in orientalischer Mundart anführen, das ich aber, weil es zu komisch ist, übergehe, dessen seine Tischfreunde sich wohl noch erinnern werden. Er war ein Freund von dergleichen Scherzen, und schrieb in den letzten Zeiten seines Lebens noch in sein Büchelchen: Klientenwein und verrostetes Brot; mit welchen Ausdrücken ein Franzos glühenden Wein und geröstetes Brot von seinem Gastwirte gefordert hatte.

Sein letztes Werk und einziges Manuskript, das vom Übergange von der Metaphysik der Natur zur Physik handeln sollte, hat er unvollendet hinterlassen. So frei ich von seinem Tode und allem dem, was er nach demselben von mir wünschte, sprechen konnte, so ungern schien er sich darüber erklären zu wollen, wie es mit diesem Manuskript gehalten werden sollte. Bald glaubte er, da er das Geschriebene selbst nicht mehr beurteilen konnte, es wäre vollendet und bedürfe nur noch der letzten Feile, bald war wieder sein Wille, daß es nach seinem Tode verbrannt werden sollte. Ich hatte es seinem Freunde Hrn. H. P. S. zur Beurteilung vorgelegt, einem Gelehrten, den *Kant* nächst sich selbst für den besten Dolmetscher seiner Schriften erklärte. Sein Urteil ist dahin ausgefallen, daß es nur der erste Anfang eines Werkes sei, dessen Einleitung noch nicht vollendet und das der Redaktion nicht fähig sei. Die Anstrengung, die *Kant* auf die Ausarbeitung dieses Werkes verwandte, hat den Rest seiner Kräfte schneller verzehrt. Er gab es für sein wichtigstes Werk aus; wahrscheinlich aber hat seine Schwäche an diesem Urteil großen Anteil.




Im Reden drückte *Kant*, besonders in den letzten Wochen seines Lebens, sich sehr uneigentlich aus. Seit dem 8. Oktober schief er nicht mehr in seinem ehemaligen Schlafzimmer. Weil dieses Zimmer einen grünen Ofen hatte, so nannte er das Schlafengehen: an den grünen Ofen gehen. Bemerkenswert ist es, daß der große Denker nun keinen Ausdruck des gemeinen Lebens mehr zu fassen imstande war. An seinem Tische herrschte oft dumpfe Stille, wo sonst heitere und anständige Jovialität ihren Wohnsitz hatte. Er sah es nicht einmal gerne, wenn seine beiden Tischgäste sich miteinander unterhielten und er eine stumme Rolle dabei machen sollte; ihn selbst aber ins Gespräch zu verflechten, hatte gleichfalls Schwierigkeiten, denn sein sonst so leises Gehör fing auch an zu schwinden und er drückte sich, ob er gleich richtig genug dachte, sehr unverständlich aus. Einige Beispiele werden den großen Mann nicht verkleinern; freilich erfordert die Erzählung derselben einige aus dem gemeinsten Leben hergenommene Ausdrücke. Die Absicht zu zeigen, wie der große Mann sich zuletzt ausdrückte, wird die Anführung und den Gebrauch dieser Worte entschuldigen. Er sprach sehr uneigentlich; aber bei aller Unvollkommenheit des Ausdrucks war doch eine ganz eigene Ähnlichkeit zwischen dem Worte und der damit bezeichneten Sache. Als beim Tische von der Landung der Franzosen in England gesprochen wurde, so kamen in diesem Gespräche die Ausdrücke: Meer und festes Land vor. *Kant* sagte (nicht im Scherz), es sei zu viel Meer auf seinem Teller und fehle an festem Lande; er wollte damit andeuten, daß er im Verhältnis mit der Suppe zu wenig festere Speise habe. An einem andern Mittage, als ihm gebackenes Obst gereicht und der dazu gehörige Pudding, in kleine unregelmäßige Stücke zerschnitten, vorgelegt wurde, sagte er: Er verlange Figur, bestimmte Figur. Dieses sollte das regelmäßigere Obst bedeuten.



Es gehörte ein täglicher Umgang mit ihm dazu, um diese seine so uneigentliche Sprache zu verstehen; dennoch konnte ihm eine Art von Witz nicht gänzlich abgesprochen werden: ein kleines Goldkörnchen schimmerte doch noch immer durch. Fragte man ihn in seiner größten Schwäche, wenn er sich über die gemeinsten Dinge nicht verständlich ausdrücken konnte, über Gegenstände der physischen Geographie, Naturgeschichte oder Chemie, so gab er noch nach dem 8. Oktober zum Erstaunen bestimmte und richtige Antworten. Die Gasarten und ihre Stoffe waren ihm so bekannt, daß man sich noch in der letzten Zeit seines Lebens, sehr befriedigt von seinen Aufschlüssen, darüber mit ihm unterhalten konnte. Die Kepplerischen Analogien konnte er noch in seiner größten Schwäche hersagen. Am letzten Montage seines Lebens, als seine Schwäche zur tiefsten Rührung seiner Tischgenossen auffallend groß war und er nichts mehr fassen konnte, was man mit ihm sprach, so sagte ich leise zu dem andern Tischfreunde: Ich darf das Gespräch nur auf gelehrte Gegenstände lenken, und ich bürge dafür, daß *Kant* alles versteht und in das Gespräch entriert. Dies schien dem andern Freunde *Kants* ungläublich. Ich machte den Versuch, und fragte *Kant* etwas über die Barbaresken. Er sagte kurz ihre Lebensweise und bemerkte noch dabei, daß in dem Worte Algier das g auch wie ein g ausgesprochen werden mußte.

Kants Beschäftigungen in den beiden letzten Wochen seines Lebens waren nicht bloß zwecklos, sondern zweckwidrig. Bald mußte die Halsbinde in einer Minute mehrmals abgenommen und umgebunden werden. Eben dieses war der Fall mit einem Tuche, das er seit vielen Jahren statt eines Passes über seinen Schlafrock zu binden gewohnt war. Sobald er letzteren zugehakt hatte, öffnete er ihn wieder mit Ungeduld, und sogleich mußte er wieder zugemacht wer-



den. Ist diese Erscheinung eine Folge der Ungeduld, eines Krampfes oder die Äußerung eines Schmerzes gewesen, für dessen Gefühl *Kants* Nerven schon abgestumpft waren? Dieses mag der Arzt und Physiolog entscheiden; allein die Beschreibung jener Ungeduld kann den Eifer nur schwach vorstellen, mit dem *Kant*, als mit der wichtigsten Angelegenheit beschäftigt, seine Kleidungsstücke öffnete und unermüdet wieder zumachte.


Er fing an, alle, die um ihn herum waren, zu verkennen. Bei seiner Schwester war es früher, bei mir später, bei seinem Diener am spätesten der Fall; dieser tiefe Grad seiner Schwäche war für mich sehr schmerzhaft. Verwöhnt durch seine sonst so gütigen Äußerungen, konnte ich seine jetzige Gleichgültigkeit gegen mich kaum ertragen, ob ich gleich wußte, daß er mir seine Gewogenheit nicht entzogen hatte. Aber desto erfreulicher war für mich der Augenblick, wenn seine Besinnungskraft zurückkehrte; nur war es traurig, daß solche Augenblicke so selten kamen. Es war ein rührender und betrübender Anblick für jeden seiner Tischfreunde, ihn in seiner Hilflosigkeit zu erblicken. Der Mann, der an stete Arbeitsamkeit gewohnt war, und jeder Art von Bequemlichkeit gern auswich, der sonst auf einem gewöhnlichen Stuhle den größten Teil seines Lebens zugebracht hatte, konnte sich kaum auf einem Armstuhle mit Kissen ausgefüllt erhalten. Gekrümmt, in sich gefallen, wie im Schlafe, saß er nun am Tische, ohne am Gespräche der Gesellschaft teilnehmen zu können; und zuletzt auch sogar ohne allen Anspruch, sich unterhalten zu lassen. Er, der in den größten Gesellschaften die vornehmsten und gelehrtesten Männer so lehrreich und angenehm unterhalten hatte, faßte nicht mehr die gewöhnlichen Gespräche und wiederholte sich selbst. Ein durchreisender Gelehrter aus Berlin machte ihm im vorletzten Sommer die Visite und sagte nachher: Er habe nicht



Kant, sondern nur *Kants* Hülle gesehen; und was war damals *Kant*, und was jetzt?


Nun kam der Februar, von dem er sagte, wie oben bemerkt worden, daß in ihm wegen der geringeren Anzahl seiner Tage die kleinste Last getragen werde. Er ertrug in demselben die meisten seines Lebens, aber er hatte für ihn auch nur 12 Tage. Sein Körper, von dem er sonst sagte: Er sei das Minimum in der Magerzeit, den er seine Armseligkeit nannte, nahm ganz außerordentlich ab. Wenngleich der Tod keine Grade gestattet, so könnte man doch fast von *Kant* sagen, er sei einige Tage vor seinem Ende schon halbtot gewesen. Er vegetierte kaum mehr, und dennoch gab's Augenblicke, wo er noch bemerkte und reflektierte.

Am 3. Februar schienen alle Triebfedern des Lebens gänzlich erschlafft zu sein und völlig nachzulassen, denn von diesem Tage an aß er eigentlich nichts mehr. Seine Existenz schien nur noch die Wirkung einer Art von Schwungkraft nach einer 80jährigen Bewegung zu sein. Sein Arzt hatte mit mir Abrede genommen, ihn um eine bestimmte Stunde zu besuchen und dabei meine Anwesenheit gewünscht. Hatte *Kant* es behalten oder vergessen, daß ich ihm gesagt hatte: sein Arzt habe alle Belohnung großmütig verboten und selbst die ihm schon insinuierte mit einem sehr rührenden Billett zurückgesandt, das weiß ich nicht. Genug, *Kant* war vom Gefühl der Hochachtung und Dankbarkeit gegen seinen Kollegen tief durchdrungen. Als er ihn neun Tage vor seinem Tode besuchte und *Kant* beinahe nichts mehr sehen konnte, so sagte ich ihm, daß sein Arzt käme. *Kant* steht vom Stuhle auf, reicht seinem Arzte die Hand und spricht darauf von *Posten*, wiederholt dies Wort oft in einem Tone, als wolle er ausgeholfen sein. Der Arzt beruhiget ihn damit, daß auf der Post alles bestellt sei, weil er diese Äußerung für Phantasie hält. *Kant* sagt: „Viele



Posten, beschwerliche Posten, bald wieder viele Güte, bald wieder Dankbarkeit“, alles ohne Verbindung, doch mit zunehmender Wärme und mehrerem Bewußtsein seiner selbst. Ich erriet indessen seine Meinung sehr wohl. Er wollte sagen, bei den vielen und beschwerlichen Posten, besonders bei dem Rektorat, sei es viele Güte von seinem Arzt, daß er ihn besuche. „*Ganz recht*“, war *Kants* Antwort, der noch immerfort stand und vor Schwäche fast hinsank. Der Arzt bittet ihn, sich zu setzen. *Kant* zaudert verlegen und unruhig. Ich war mit seiner Denkungsart zu bekannt, als daß ich mich in der eigentlichen Ursache der Verzögerung hätte irren sollen, weshalb *Kant* seine ermüdende und ihn schwächende Stellung nicht änderte. Ich machte den Arzt auf die wahre Ursache, nämlich die feine Denkungsart und das artige Benehmen *Kants* aufmerksam und gab ihm die Versicherung, daß *Kant* sich sogleich setzen würde, wenn er, als Fremder, nur erst würde Platz genommen haben. Der Arzt schien diesen Grund in Zweifel zu ziehen, wurde aber bald von der Wahrheit meiner Behauptung überzeugt und fast zu Tränen gerührt, als *Kant* nach Sammlung seiner Kräfte mit einer erzwungenen Stärke sagte: *Das Gefühl für Humanität hat mich noch nicht verlassen*. Das ist ein edler, feiner und guter Mann! riefen wir, wie aus einem Munde, uns zu.


Es war Zeit zum Tisch zu gehen und der Arzt verließ uns. Der zweite Tischgast kam. Nach dem zu urteilen, was ich eben von ihm gehört hatte, glaubte ich auf einen recht frohen Mittag rechnen zu können; aber vergebens. *Kant* hatte schon seit einigen Wochen alle Speisen geschmacklos gefunden. Ich bemühte mich, ihren Geschmack durch unschädliche Gewürze, als Muskatnüsse oder Kaneel nach Maßgabe der Speisen zu erhöhen. Die Wirkung war kurz und vorübergehend. Jetzt an diesem Tage half nichts, der




Löffel mit Speisen wurde in den Mund genommen und nicht verschluckt, sondern wieder aus demselben weggeschafft. Auch leichte Lieblingsspeisen, Biskuit, Semmelkrume, alles wollte nicht schmecken. Von ihm selbst hatte ich in frühern Zeiten gehört, daß einige seiner Bekannten, die am eigentlichen Marasmus gestorben waren, sich zwar völlig schmerzlos gefühlt, aber in 3—5 Tagen weder Appetit noch Schlaf gehabt hätten und dann so sanft zum Tode eingeschlummert wären. Ein Ähnliches fürchtete ich auch von ihm. Am folgenden Sonnabend hörte ich die lauten Zweifel seiner Tischgäste, je wieder mit ihm zu essen, mit Bedauern an und stimmte ihrer Meinung bei. Sonntags, den 5. Februar, speiste ich mit seinem Freunde Hrn. R. R. V. *Kant* war so schwach, daß er ganz zusammenfiel. Ich legte bei Tische, da er auf eine Seite sank, ihm die Kissen zurecht und sagte: Nun ist alles in der besten Ordnung. „*Testudine et Facie*“⁶⁵, sagte *Kant*, „wie in der Schlachtordnung.“ Ganz unerwartet kam uns dieser Ausdruck, der auch das letzte lateinische Wort war, das er aussprach. Er aß auch jetzt nichts, die Speisen hatten dasselbe Schicksal wie in den beiden vorigen Tagen. Montag, den 6. Februar, war er um vieles schwächer und stumpfer; verloren in sich selbst, saß er mit starrem Blick da, ohne etwas zu reden. Ohne alle Teilnahme an Gesprächen schien er selbst uns zu fehlen, nur sein Schatten war noch in unserer Mitte, und doch gab er noch bisweilen, sobald es auf wissenschaftliche Dinge ankam, Zeichen, daß er da sei.

Von nun an wurde *Kant* um vieles gelassener und sanfter. In den frühern Zeiten des Kampfes mit seiner Geistesstärke und guten Natur von der einen und dem immer weiter rückenden Alter von der andern Seite, war *Kant* des Lebens

⁶⁵ (lat.) mit Schild und in vollem Glanz



und jeder Freude desselben satt, konnte nichts mit sich und seiner Zeit anfangen, und war nicht imstande, sich verständlich auszudrücken. Er erhielt daher Dinge, die er nicht haben wollte, mußte einige entbehren, die er gern gehabt hätte und nur nicht nennen konnte. Diese Irrungen machten es, daß er seinen Exklamationen einen zu harten Nachdruck gab und sie in Worten ausdrückte, die er früher für plebej gehalten haben würde. Der Mann, der in den frühern Jahren seines Lebens so fein und human auch für sich selbst dachte, daß, wenn er auf Zetteln, die nicht leicht einem andern, als nur ihm allein, zu Gesicht kamen, sich eine Gefälligkeit, um die er seine Freunde bitten wollte, aufzeichnete, es in keiner andern Art tat, als: Hr. N.N. wird gebeten, die Güte zu haben usw., der Mann verdient gewiß schonende Nachsicht, wenn er in seinem höchsten Alter seinen Ausrufungsformeln einen etwas grellen, ich will nicht sagen, rauhen Anstrich gab. Sie hatten nur eine minder polierte Außenseite, nie waren sie böse gemeint. Der Kampf seiner Natur mit seinem Alter hatte manches, doch immer begrenztes, Aufbrausen verursacht; jetzt war die völlige Scheidung und Zersetzung seiner Kräfte vollendet, das etwanige Aufbrausen hörte auf, wie bei jedem chemischen Prozeß dieser Art. Fuhr er sonst bisweilen gegen seinen Diener auf; so war auch in demselben Augenblicke wieder alles gut. Man sah es ihm zu deutlich an, daß er mit nichts in der Welt weniger zurecht komme, als mit dem Bösewerden. Er nahm sich dabei so links, daß es unverkennbar war, er sei an diese ihm unnatürliche Rolle gar nicht gewöhnt. Dieses Bösesein wollen und nicht können, gab ihm eine besondere Art von Lebenswürdigkeit; denn zu den tief eingepprägten Zügen der Gutmütigkeit auf seinem sanften, menschenfreundlichen Gesichte wollte die Miene des Unwillens immer nicht recht passen. Sein Diener wußte sehr gut, wie er mit ihm daran




war und was er von seinem augenblicklichen Unwillen zu halten hatte. In den letzten Tagen seines Lebens war keine Spur der Unzufriedenheit bemerkbar, die einige Monate vorher stattfand.

Jetzt besuchte ich ihn täglich dreimal, ging daher auch über dem Essen zu ihm und fand seine beiden Tischfreunde, Dienstag den 7. Februar am Tische allein; *Kant* aber im Bette. Diese Erscheinung war neu und vermehrte unsere Besorgnisse, daß sein Ende nicht mehr fern sein dürfte. Noch wagte ich es nicht, ihn, der sich so oft erholt hatte, am folgenden Tage ganz ohne Mittagsgesellschaft zu lassen, bestellte bloß eine Suppe und wollte sein alleiniger Tischgast sein. Ich erschien um 1 Uhr, sprach ihm herzlich zu, ließ auftragen; er nahm zwar, wie seit dem 3. Februar gewöhnlich, einen Löffel mit Suppe in den Mund, behielt ihn aber nicht, sondern eilte ins Bett und stand aus demselben nicht mehr auf, als wenn Bedürfnisse es für einige Augenblicke notwendig machten.

Donnerstag, den 9. Februar, war er zur Schwäche eines Sterbenden völlig herabgesunken und die Totengestalt stellte sich schon bei ihm ein. Ich besuchte ihn oft an diesem Tage, ging noch abends um 10 Uhr hin und fand ihn im Zustande der Bewußtlosigkeit. Er gab auf keine Fragen Antwort. Ich verließ ihn, ohne ein Zeichen erhalten zu haben, daß er mich kenne, und überließ ihn seinen beiden Verwandten und seinem Diener.

Freitag morgens um 6 Uhr ging ich wieder zu ihm. Es war ein stürmischer Morgen und ein tiefer Schnee in dieser Nacht gefallen. Diebe hatten in derselben sein Gehöft erbrochen, um durch dasselbe bei seinem Nachbar, einem Goldarbeiter, einzubrechen. Als ich vor sein Bett trat, wünschte ich ihm einen guten Morgen. Unverständlich und mit gebrochener Stimme erwiderte er meinen Gruß auf glei-




che Weise und sagte: *Guten Morgen*. Ich freute mich, ihn wieder bei Bewußtsein zu finden, fragte ihn, ob er mich noch kenne, er antwortete: Ja, reckte die Hand aus und strich mir mit derselben liebevoll über die Backe. Bei den übrigen Besuchen an diesem Tage schien er kein Bewußtsein zu haben.

Sonnabend den 11. lag er mit gebrochenem Auge, aber dem Anschein nach ruhig. Ich fragte ihn, ob er mich kenne? Er konnte nicht antworten, reichte mir aber den Mund zum Kusse. Tiefe Rührung durchschauderte mich, er reichte mir nochmals seine blassen Lippen. Fast darf ich die Vermutung wagen, er habe es auf einen Abschied von mir und Dank für vieljährige Freundschaft und Beihilfe angelegt. Mir ist nicht bekannt, daß er je einem seiner Freunde einen Kuß anbot, ich habe es wenigstens nie gesehen, daß er irgend einen derselben geküsst hätte. Ich habe nie einen Kuß von ihm erhalten, außer wenige Wochen vor seinem Tode, da er mich und seine Schwester küßte. Doch schien er mir damals in seiner Schwäche nicht zu wissen, was er tat. Nach allen Umständen zu urteilen, bin ich in Versuchung, sein letztes Anerbieten für ein wirkliches Zeichen der, durch den Tod nun bald geendeten Freundschaft, zu halten. Dieser Kuß war aber auch das letzte Merkmal, daß er mich kannte.


Der ihm oft gereichte Saft ging nun schwer und mit einem Getöse, wie solches mit Sterbenden häufig der Fall ist, hinunter; es trafen alle Kennzeichen des nahen Todes zusammen. Es war ein schauerlicher Auftritt, den das Sterbebett des großen Mannes, vom schwachen Lichte der eben verfinsterten Sonne beleuchtet, gewährte.

Ich wünschte bei ihm auszudauern, bis er enden würde, und da ich Zeuge eines Teils seines Lebens gewesen war, auch Zeuge seines Todes zu sein; daher entfernten mich bloß meine Amtsgeschäfte von seinem Sterbebette. Da ich




aus allen Umständen und dem Urteile seines ihn nun täglich besuchenden Arztes wußte, daß sein Leben seinem Ende entgegen eile, so bestimmte ich mich, so lange ihm beizustehen, als es möglich war, mit Freundes Hand sein letztes Labsal ihm zu reichen und mit derselben sein Auge zuzudrücken. Ich blieb die letzte Nacht an seinem Bette. So bewußtlos er an diesem Tage lag, so gab er am letzten Abende doch noch ein verständliches Zeichen, gewisser Bedürfnisse wegen, das Bett zu verlassen, doch war seine dadurch bewirkte Aufstörung fruchtlos, und er wurde zum letzten Mal in sein Bett, welches, während der Zeit seines Aufenthalts außer demselben, mit äußerster Schnelligkeit in Ordnung gebracht wurde, getragen. Zur kleinsten Mithilfe waren seine Kräfte schon zu schwach. Er schlief nicht, sein Zustand war mehr Betäubung als Schwäche. Den mit Saft ihm dargereichten Löffel stieß er oft weg; aber in der Nacht um 1 Uhr neigte er sich selbst nach dem Löffel. Ich schloß daraus auf seinen Durst und reichte ihm eine versüßte Mischung von Wein und Wasser. Er näherte den Mund dem Glase, und als dieser aus Schwäche den Trunk nicht mehr halten konnte, so hielt er mit der Hand sich den Mund zu, bis alles mit Getöse hinunter war. Er schien noch mehr zu wünschen; ich wiederholte mein Anerbieten, so oft, bis er durch diese Erquickung gestärkt, zwar undeutlich, doch mir noch verständlich sagen konnte: *Es ist gut*. Dies war sein letztes Wort. Einige Male stieß er die Bettdecke von Eiderdaunen weg und entblößte sich den Leib. Ich suchte die Erkältung durch öftere Bedeckung zu hindern. Der ganze Leib und die Extremitäten waren schon kalt, der Puls intermittierte.

Den 12. um 3/4 auf 4 Morgens legte er sich gleichsam zum nahe bevorstehenden großen Akt seines Todes zurecht und gab seinem Körper eine völlig regelmäßige Lage, in der



er bis zum Tode unverrückt liegen blieb. Der Puls war weder an Händen und Füßen, noch am Halse, fühlbar. Ich untersuchte jede Stelle, wo ein Puls schlägt, und fand, daß bloß in der linken Hüfte der zurückgezogene Puls mit Heftigkeit schlug, aber doch oft ausblieb.


Um 10 Uhr Vormittag veränderte sich seine Gestalt sehr merklich; das Auge war völlig starr und gebrochen, Totenblässe hatte das Gesicht und die Lippen entfärbt; doch war nicht die mindeste Spur von einem Todesschweiß zu entdecken. Die Wirkung seiner Maßregel, dem Schweiß vorzubeugen, währte bis zu seinem Tode fort. Gegen 11 Uhr schien der letzte Augenblick seines Lebens nahe zu sein. Seine Schwester stand am Fußende, sein Schwestersohn am Hauptende seines Bettes. Um ihn recht ins Auge zu fassen, um den Puls in der Hüfte beobachten zu können, kniete ich an seinem Bette hin, denn seine gekrümmte Richtung vor Alter verhinderte mir in stehender Stellung den Anblick seines Gesichtes. Ich rief seinen Diener, Zeuge des Todes seines guten Herrn zu sein. Der Augenblick begann, indem die Funktionen des Lebens aufhörten. Eben jetzt trat sein ausgezeichnete Freund Hr. R. R. V., den ich hatte bitten lassen, ins Zimmer. Der Atem wurde schwächer, er verfehlte den gewöhnlichen Takt; ein Atemzug blieb aus, die Oberlippe zuckte kaum bemerkbar, ein schwacher, leiser Atemzug folgte; auf ihn keiner mehr, der Puls schlug noch einige Sekunden fort, schlug langsamer und schwächer, nicht mehr fühlbar, der Mechanismus stockte und die letzte Bewegung der Maschine hörte auf. Sein Tod war ein Aufhören des Lebens und nicht ein gewaltsamer Akt der Natur. Gerade jetzt schlug die Uhr 11. Alle gemachten Versuche, ob noch eine Spur von Leben zu entdecken wäre, mißlingen, und alles deutete auf seinen Tod hin. Die Empfindung, die seinen Freund und mich ergriff, war unnennbar und einzig in



ihrer Art. Ich konnte die Täuschung in der Hand, als wenn sein Puls noch von mir beobachtet und gefühlt würde, nicht sogleich hemmen.

Eben jetzt, da sein letzter Lebenshauch kaum verweht war, trat sein Arzt ins Zimmer, der nach gehöriger Untersuchung die Wirklichkeit seines Todes bestätigte. Die Anzeige seines erfolgten Todes wurde von mir besorgt, und ich eilte mit betrübtem Herzen nach Hause, da die Zeit zum Anfange meiner Amtsgeschäfte so nahe war. Bis nach Beendigung derselben blieb seine Leiche völlig bedeckt im Bette liegen. Ein Tischfreund *Kants* und seine Verwandten übernahmen die Beobachtung seines Körpers, ob etwa Spuren des Lebens sich äußern dürften. Bei meiner Rückkehr war keine entdeckt. Sein Haupt wurde beschoren, und dadurch zum Gipsabguß, den Herr Prof. *Knorr* übernahm, vorbereitet. Der Bau seines Schädels war nach allgemeinem Urtheil derer, die in *Galls* Geheimnisse der Natur nicht eingeweiht waren, besonders regelmäßig gebaut. Nicht bloß seine Larve, sondern sein ganzer Kopf wurde geformt, damit vielleicht gelegentlich D. *Galls* Schädelsammlung durch einen Abguß dieses Schädels vermehrt werden könnte.

Seine Leiche wurde nun in seine ehemalige Eßstube, in ihr Sterbegewand gekleidet, hingelegt. Eine große Menge Menschen aus den höchsten und niedrigsten Ständen strömte hinzu, um die Hülle zu sehen, die einst *Kants* großen Geist umschloß. So sehr ich vorher auf *Kants* ausdrückliches Verlangen bemüht war, alles ungebührliche Zudrängen ihm oft unbekannter Leute, die bloße Neugierde hintrieb, zur Vermeidung aller ihm lästigen Störung seiner Ruhe zu verhindern; so hielt ich es doch jetzt für unbillig, den Anblick seiner Leiche irgend Jemandem zu verweigern. Alles eilte hinzu, die letzte Gelegenheit zu benutzen, um einst sagen zu können: Ich habe *Kant* gesehen. Viele Tage lang




wurde zu ihm gewallfahrtet, zu jeder Tageszeit. Vom Morgen bis zum finstern Abend war das Zimmer bald mehr, bald weniger mit Besuchenden angefüllt. Viele kamen zweiauch dreimal wieder und in vielen Tagen hatte das Publikum seine Sehbegierde noch nicht völlig gestillt. Da darauf nicht im mindesten gerechnet war, den Körper zur Schau auszusetzen; aber dennoch so viele zu seiner Hülle hingezogen wurden; so wollte ich doch auch nichts versäumen, was etwa der Anstand erforderte. Ich ließ eine schwarze Trauerdecke mieten, um sie der Leiche unterzulegen. Das Gewerk, von dem ich sie mietete, erhielt für jeden Tag einen Taler; es gab eine schöne weiße Decke mit breiten Brabanterspitzen noch dazu, und die Älterleute nahmen für beides nur täglich einen Gulden, mit dem Zusatz, weil es für *Kant* wäre.

Zu den Füßen *Kants* legte ein Dichter ein Gedicht mit der Aufschrift: Den Manen *Kants*. Es mag schön gewesen sein; allein weder ich, noch alle meine Freunde und Bekannten, konnten die hohe Sprache fassen. Indessen war es doch gut gemeint, und die Bescheidenheit, mit der das Gedicht niedergelegt wurde, machte dem Dichter desto mehr Ehre.

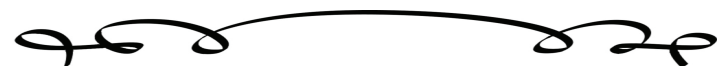
Der gänzlich ausgetrocknete Körper *Kants* erregte Staunen, und das Geständnis war allgemein, daß man nicht so leicht einen abgekehrtem Leichnam gesehen habe.

Ein Kissen, auf dem ihm einst die Studierenden ein Gedicht überreicht hatten, wußte ich nicht besser anzuwenden und zu ehren, als daß ich sein Haupt auf demselben ruhen ließ, und es mit ins Grab gab.

Über die Art seines Begräbnisses hatte *Kant* in frühern Jahren seinen Willen auf ein Oktavblättchen geschrieben. Er wollte des Morgens frühe in aller Stille, bloß von seinen Tischfreunden begleitet, begraben werden. Ich fand diesen Aufsatz, als ich mich mit seinen Papieren bekannt machte. Freimütig äußerte ich ihm meine Meinung, daß diese Vor-



schrift mich als seinen Leichenbesorger zu sehr beschränken würde, daß Umstände, die nicht vorher zu sehen wären, mich ins Gedränge bringen dürften. *Kant* legte auch nicht den mindesten Wert auf dieses Papier, zerriß es und überließ mir die Besorgung seines Begräbnisses ganz, ohne irgendetwas festzusetzen. Nie wurde mehr über diesen Punkt gesprochen. Es war leicht vorherzusehen, daß die Studierenden es sich nicht leicht würden nehmen lassen, irgendeine Ehrenbezeugung nach seinem Tode zu veranstalten. Diese Vermutung traf über alle Erwartung ein, und ein solches Leichenbegängnis, bei welchem die deutlichsten Spuren allgemeiner Hochachtung, feierlicher Pomp und Geschmack sich vereinigten, sahen Königsbergs Einwohner nie. Schon die öffentlichen Blätter, noch mehr eine besondere Schrift haben die Totenfeier *Kants* umständlich bekannt gemacht. Eine kurze Anzeige wird hinlänglich sein zu zeigen, wie sehr sich alles beeiferte, *Kants* Asche zu ehren. Am 28. Februar, um 2 Uhr nachmittags, versammelten sich alle hohen Standespersonen nicht nur der Stadt, sondern auch viele aus den herumliegenden Gegenden derselben, in der hiesigen Schloßkirche, um die sterbliche Hülle *Kants* zu ihrem Grabe zu begleiten. Die zu diesem feierlichen Aufzuge sehr geschmackvoll gekleidete akademische Jugend, die vom Universitätsplatze ausgegangen war, holte das Ehrengefolge aus der Schloßkirche ab. Als diese sich dem Trauerhause näherten, wurde die Leiche unter dem Geläute aller Glocken der ganzen Stadt empfangen. Der unabsehbare Zug ging ohne irgendeiner Rangbeobachtung zu Fuße, von Tausenden begleitet, in die Dom- und Universitätskirche. Diese war mit einigen hundert Wachskerzen erleuchtet. Ein Katafalk mit schwarzem Tuche beschlagen, machte einen imposanten Eindruck. Eine feierliche, vortrefflich exekutierte Kantate und zwei Reden erhöhten die Empfindungen aller



Anwesenden. Während einer Rede wurde dem Kurator der Akademie ein Trauergedicht von den Studierenden überreicht. Nach beendigter Feierlichkeit wurde *Kants* entseelte Hülle in der akademischen Totengruft beerdiget, wo nun seine Asche sich mit den Überresten vorausgegangener Väter der Akademie mischt. Friede seinem Staube!

Anmerkungen von Prof. Dr. Werner Stark (Marburg),
Angelika Vaskinevich (Kaliningrad) und Gerfried Horst
(Berlin)





BRIEFE

Akademie Ausgabe Band XII

643

An Ehregott Andreas Christoph Wasianski.

15. Sept. 1795.

Ew. Hochwohlehrwürden
haben die Gefälligkeit gehabt zu erlauben, dass ich den
HEn. Geh. Rath v. Hippel, nebst einem und anderem Freun-
de, eines Tages zu Ihnen führen dürfte, um Ihr schönes In-
strument anzuhören. Morgen (Mittwochs) wäre, nach dem
Wunsche des Hrn. v. Hippel, der gelegenste Tag, etwa um
vier Uhr Nachmittag Ihnen diesen Besuch abzustatten; wor-
über ich mir gütige Antwort erbitte und mit vollkommener
Hochachtung jederzeit bin


Ew. Hochwohlehrwürden
ganz ergebenster Diener
I Kant.
d. 15ten Sept. 1795.

841.

An Ehregott Andreas Christoph Wasianski.

12. Dec. 1800.

Mit der Bitte, mich heute zur Mittagsmahlzeit mit Ihrer
Gesellschaft zu beehren, verbinde ich ergebenst die zweyte:
nämlich eine zweyte Gardiene von grünem Zindeltafft für
mein zweytes Fenster rechter Hand mit eben solchen Mes-
singringen gütigst verfertigen zu lassen; weil mich die Son-
ne rechter Hand schräge trifft und mich von meinem
Schreibtische verjagt. Vielleicht wäre es am besten jene alte



Gardiene ganz zu verwerfen und eine so breite, als nötig ist, beyde Fenstern zugleich zu bedecken und rechts sowohl als links sie an Ringen vermittelst der längeren Schnur laufen zu lassen. — Ihr glücklicher Künstlerblick wird dem Dinge abhelfliches Maaß zu verschaffen wissen.

Ich bin mit freundschaftlichem Vertrauen und der größten Ergebenheit


Ihr
Königsb. treuer Diener I. Kant
d. 12. Dec. 1800.

842.
Von Ehregott Andreas Christoph Wasianski.

19. Dec. 1800

Ew. Wohlgebornen

Nehme mir die Ehre hiemit ergebenst anzuzeigen, wie ein Katharr und ein mit Brustschmerzen verbundener Husten mich schon seit Dienstag verhindert hat, auszugehen; sonst hätte ich von Dero Güte den gewöhnlichen Gebrauch mit vielem Vergnügen gemacht. Was den Punkt des Fensterverstopfens betrifft, so muß ich Ew. Wohlgeb. vorläufig meine jetzt eben gemachte Erfahrung bekant machen. Seit einigen Jahren habe ich in mehreren Stuben doppelte Fenstern, und nie sind die äußern; wohl aber die innern bey sehr starkem Froste belaufen. Ich habe in diesem Winter zum *Ersten* Male die äußern verklebt, und sie sind in diesem Froste noch nicht abgethaut; sondern von oben bis unten mit Eis überzogen, kleine Stellen am Bley ausgenommen, wo die Luft durchstreifet. Ich sehe mich also gedrungen, jene mühsame Arbeit wieder zu zerstöhren; um nicht ein falsches blendendes Licht im Zimmer zu haben. Mein Rath also



wäre: entweder kein äußeres Fenster zu verstopfen; oder um einen Versuch zu machen, nur etwa das Eine, dem Ofen gegen über. Da ich mich Eilf Jahre noch gut gehalten habe; ohne *Einen* Vortrag einem andern übertragen zu dürfen; so wollte ich auch gerne auf den nun schon so nahen Sonntag gerne selbst predigen, und die schon gereizte Brust noch gerne heute vor der eindringenden Kälte bewahren. Wenn ich nicht eine Art von Influenz bekomme (denn die jetzige Empfindungen im Körper sind denen sehr ähnlich, die ich bey der Influenz im März hatte) so werde ich Montag Vormittag mir die Ehre geben über diesen Gegenstand wegen der Fernstern, mit Ew. Wohlgeb. weitläufigere Rücksprache zu nehmen und die Versicherung meiner unbegrenzten Hochachtung und innigsten Verehrung zu wiederholen mit der ich zu verharren die Ehre habe

Ew. Wohlgeboren
ganz ergebenster
Königsberg Diener und Verehrer
d. 19. Dec. Wasianski
1800

Все средства, полученные от реализации данного издания, направляются на реставрационные работы Ка-федерального собора, разрушенного в ходе налета английской авиации 29 августа 1944 г.

Alle Erlöse aus dem Verkauf dieser Ausgabe werden für die Wiederherstellung des Königsberger Doms verwendet, der beidem Angriff der englischen Luftwaffe am 29. August 1944 zerstört wurde.

Эрегот Андреас Кристоф Васянский

ИММАНУИЛ КАНТ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Ehregott Andreas Christoph Wasianski

IMMANUEL KANT IN SEINEN LETZTEN LEBENSJAHREN

Редактор *Н. Н. Мартынюк*. Корректор *Н. Н. Генина*.
Верстка *Л. В. Семеновой*

Подписано в печать 06.06.2013 г. Формат 84×108¹/₃₂.
Усл.-печ. л. 15,3. Тираж 1000 экз. Заказ 90.

Издательство Балтийского федерального университета им. И. Канта
236041, Калининград, ул. А. Невского, 14

